

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

*Истории о путешествиях
во времени*



Марк Твен

**Назад в будущее. Истории
о путешествиях во
времени (сборник)**

«ФТМ»

«ЭКСМО»

Твен М.

Назад в будущее. Истории о путешествиях во времени (сборник) /
М. Твен — «ФТМ», «Эксмо»,

ISBN 978-5-699-78963-4

Можно ли вмешаться в неумолимое течение времени, очутиться в далеком прошлом или отправиться на сотни лет вперед? Как изменить ход истории или заглянуть в завтрашний день? К теме путешествий во времени еще задолго до расцвета научной фантастики обращались такие признанные классики литературы, как Вашингтон Ирвинг и Чарльз Диккенс. Невероятные приключения в средневековом прошлом и чудесные видения будущего – в сборнике о самых первых путешественниках во времени.

ISBN 978-5-699-78963-4

© Твен М.

© ФТМ

© Эксмо

Содержание

Вашингтон Ирвинг	6
Посмертный труд Дидриха Никербокера	6
Чарльз Диккенс	16
Строфа первая	16
Строфа вторая	28
Строфа третья	39
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Назад в будущее. Истории о путешествиях во времени (сборник)

- © Бобович А., перевод на русский язык. Наследники, 2015
- © Озерская Т., перевод на русский язык. Наследники, 2015
- © Беляева Н., перевод на русский язык. Наследники, 2015
- © Чуковский Н., перевод на русский язык. Наследники, 2015
- © Издание на русском языке. ООО «Издательство «Эксмо», 2015

* * *

Вашингтон Ирвинг Рип Ван Винкль

Посмертный труд Дидриха Никербокера

*Клянусь Вотаном, богом саксов,
Творцом среды (среда – Вотанов день),
Что правда – вещь, которую храню
До рокового дня, когда свалюсь
В могилу...¹*

Картрайт

Всякий, кому приходилось подниматься вверх по Гудзону, помнит, конечно, Каатскильские горы. Эти дальние отроги великой семьи Аппалачей, вознесенные на внушительную высоту и господствующие над окружающей местностью, виднеются к западу от реки. Всякое время года, всякая перемена погоды, больше того – всякий час на протяжении дня вносят изменения в волшебную окраску и очертания этих гор, так что хозяйшкы – что ближние, то и дальние – смотрят на них как на безупречный барометр. Когда погода тиха и устойчива, они, одетые в пурпур и бирюзу, вычерчивают свои смелые контуры на прозрачном вечернем небе, но порою (хотя вокруг, куда ни глянь, все безоблачно) у их вершин собирается сизая шапка тумана, и в последних лучах заходящего солнца она горит и сияет, как венец славы.

У подножия этих сказочных гор путнику, вероятно, случалось видеть легкий дымок, выющийся над селением, гонтовые крыши которого просвечивают между деревьями как раз там, где голубые тона предгорья переходят в яркую зелень расстилающейся перед ним местности. Это – старинная деревушка, основанная голландскими переселенцами еще в самую раннюю пору колонизации, в начале правления доброго Питера Стайвесанта (мир праху его!), и еще совсем недавно тут сохранялось несколько домиков, сложенных первыми колонистами из мелкого, вывезенного из Голландии желтого кирпича, с решетчатыми оконцами и флюгерами в виде петушков на гребнях островерхих крыш.

Вот в этой-то деревушке и в одном из таких домов (который, сказать по правде, порядком пострадал от времени и непогоды) в давние времена, тогда, когда этот край был британской провинцией, жил простой, добродушный малый по имени Рип Ван Винкль.

Он принадлежал к числу потомков тех самых Ван Винклей, которые с великою славою подвизались в рыцарственные дни Питера Стайвесанта и находились с ним при осаде форта Кристины. Воинственного характера своих предков он, впрочем, не унаследовал. Я заметил уже, что это был простой, добродушный малый; больше того, он был хороший сосед и покорный, забитый супруг. Последнему обстоятельству он и был обязан, по-видимому, той кротостью духа, которая снискала ему всеобщую любовь и широкую популярность, ибо наиболее услужливыми и покладистыми вне своего дома оказываются мужчины, привыкшие повиноваться вечно брюзжащим и бранящимся женам. Их нрав, пройдя через огненное горнило домашних невзгод, становится, вне всякого сомнения, гибким и податливым, ибо супружеские нахлобучки лучше всех проповедей на свете научают человека добродетели терпения и послушания. Вот почему сварливую жену в некоторых отношениях можно считать благословением неба, а раз так, Рип Ван Винкль был благословен трижды.

¹ Все встречающиеся в тексте стихи переведены Т. М. Казмичевой.

Как бы там ни было, но он, бесспорно, пользовался горячей симпатией всех деревенских хозяюшек, которые, согласно обыкновению прекрасного пола, во всех семейных неурядицах Рипа неизменно становились на его сторону и, когда тараторили друг с другом по вечерам, не упускали случая взвалить всю вину на тетушку Ван Винкль. Даже деревенские ребятишки встречали его появление шумным и радостным гомоном. Он принимал участие в их забавах, мастерил им игрушки, учил запускать змея и катать шарики² и рассказывал нескончаемые истории про духов, ведьм и индейцев. Когда бы ни слонялся он по деревне, его постоянно окружала ватага ребят, цеплявшихся за полы его одежды, забиравшихся к нему на спину и безнаказанно учинявших тысячи шалостей; кстати, не было ни одной собаки в окрестностях, которой пришло бы в голову на него залаять.

Большим недостатком в характере Рипа было непреодолимое отвращение к труду. Это происходило, однако, не потому, что у него не хватало усидчивости или терпения, – ведь сидел же он сиднем, бывало, на мокром камне с удочкой, длинной и тяжелой, как татарская пика, и безропотно удил целыми днями даже в тех случаях, когда ни разу не клюнет; бродил же он часами с ружьем на плече по лесам и болотам, по горам и по долам, чтобы подстрелить нескольких белок или лесных голубей. Никогда не отказывался он пособить соседу даже в самой трудной работе и был первым, если в деревне принимались сообща лущить кукурузу или возводить каменные заборы; жительницы деревни привыкли обращаться к нему с различными поручениями или просьбами сделать для них какую-нибудь мелкую докучливую работу, взяться за которую не соглашались их менее покладистые мужья. Короче говоря, Рип охотно брался за чужие дела, но отнюдь не за свои собственные; исполнять обязанности отца семейства и содержать ферму в порядке представлялось ему немыслимым и невозможным.

Он заявлял, что обрабатывать его землю не стоит: это, мол, самый скверный участок в целом краю, все растет на нем из рук вон плохо и всегда будет расти отвратительно, несмотря на все труды и усилия. Изгороди у него то и дело разваливались; корова неизменно умудрялась заблудиться или забредала в капусту; сорняки на его поле росли, конечно, быстрее, чем у кого бы то ни было; всякий раз, когда он собирался работать вне дома, начинал, как нарочно, лить дождь, и, хотя доставшаяся ему по наследству земля, сокращаясь акр за акром, превратилась в конце концов, благодаря его хозяйничанию, в узкую полоску картофеля и кукурузы, полоска эта была наихудшей в этих местах.

Дети его ходили такими оборванными и одичалыми, словно росли без родителей. Его сын Рип походил на отца, и по всему было видно, что вместе со старым платьем он унаследует и отцовский характер. Обычно он трусил мелкой рысцой, как жеребенок, по пятам матери, облаченный в старые отцовские, проношенные до дыр широкие штаны, которые с великим трудом придерживал одной рукой, подобно тому как нарядные дамы в дурную погоду подбирают шлейф своего платья.

Рип Ван Винкль тем не менее принадлежал к разряду тех вечно счастливых смертных, обладателей легкомысленного и беспечного нрава, которые живут не задумываясь, едят белый хлеб или черный, смотря по тому, какой легче добыть без труда и забот, и скорее готовы сидеть сложа руки и голодать, чем работать и жить в довольстве. Если бы Рип был предоставлен себе самому, он посвистывал бы в полное свое удовольствие на протяжении всей своей жизни, но, увы!.. супруга его жужжала ему без устали в уши, твердя об его лени, беспечности и о разорении, до которого он довел собственную семью. Утром, днем и ночью ее язык трещал без умолку и передышки: все, что бы ни сказал и что бы ни сделал ее супруг, вызывало поток домашнего красноречия. У Рипа был единственный способ отвечать на все проповеди подобного рода, и благодаря частому повторению это превратилось в привычку: он пожимал плечами, покачивал головой, возводил к небу глаза и упорно молчал. Впрочем, это влекло за собой новые залпы

² Речь идет о детской игре наподобие бабок.

со стороны его неугомонной супруги, и в конце концов ему приходилось отступать с поля сражения и скрываться за пределами дома – ведь только это и остается несчастному мужу, живущему под башмаком у жены.

Среди домашних единственным другом Рипа был пес по имени Волк – существо не менее подбашмачное, чем его бедняга-хозяин, – ибо госпожа Ван Винкль, считая, что они товарищи по лености и безделью, злобно косилась на Волка, видя в нем причину частых отлучек ее супруга. Волк же, в сущности говоря, обладал всеми чертами характера, которые полагается иметь честному псу: он не уступил бы в отваге ни одному зверю, рыскавшему в лесах, но какая отвага устоит перед нападками злого, вечно извергающего хулу женского языка! Стоило Волку переступить порог дома – и облик его сразу преображался: понурый, с опущенным в землю или зажатым меж ног хвостом, крался он с видом преступника, то и дело бросая косые взгляды на хозяйку Ван Винкль и при малейшем взмахе метлы или уполовника с воем и визгом кидаясь за дверь.

С годами семейная жизнь Рипа становилась все тягостнее. Дурной характер никогда не смягчается с возрастом, а острый язык – единственный из всех режущих инструментов, который не только не притупляется от постоянного употребления, но, напротив, становится все острее и острее. Будучи принужден частенько покидать домашний очаг, Рип мало-помалу привык находить отраду в посещении, так сказать, постоянного клуба мудрецов, философов и прочих деревенских бездельников. Клуб этот заседал на скамье у небольшого трактира, вывеской которому служил намалеванный красною краской портрет его королевского величества Георга III. Здесь просиживали они в холодке нескончаемый летний день, бесстрастно передавая друг другу деревенские сплетни или сонно пережевывая бесчисленные истории ни о чем. Впрочем, иным государственным деятелям стоило бы выложить хорошие денежки, чтобы послушать глубокомысленные дискуссии, возникавшие порой между ними, когда какой-нибудь случайный проезжий снабжал их старой газетой. С какою торжественностью внимали они тогда неторопливому чтению Деррика Ван Буммеля, школьного учителя, маленького и щегольски одетого ученого человечка, который, не запнувшись, мог произнести самое гигантское слово во всем словаре! С какою мудростью толковали они о событиях многомесячной давности!

Общественным мнением в этом высоком собрании заправлял Николас Веддер, патриарх деревни и владелец трактира, у порога которого он восседал с утра до ночи, передвигаясь ровно на столько, сколько требовалось, чтобы укрыться от солнца и остаться в тени могучего дерева, так что соседи, наблюдая его движения, могли определять время с такою же точностью, как если бы перед ними были солнечные часы. Правда, голос его можно было услышать не часто, зато трубкой своей он дымил непрерывно. И все же его приверженцы (а у всех великих людей всегда бывают приверженцы) отлично понимали его и умели угадывать его мнения. Было замечено, что, если чтение или рассказ приходились ему не по вкусу, он начинал яростно попыхивать трубкой, выпуская изо рта частые, короткие и сердитые клубы дыма; если же, напротив, они ему нравились, он медлительно и спокойно затягивался и выпускал дым легкими, мирными облачками; время от времени, вынув изо рта трубку, он степенно кивал головой в знак полного одобрения, и тогда около его носа завивался ароматный дымок.

Но даже из этой твердыни бедный Рип был выбит в конце концов своею сварливой женой, которая не раз нарушала спокойствие и безмятежность достопочтенного сборища, ставя членов его ни во что и допекая их своими насмешками. Даже священную особу Николаса Веддера не пощадил дерзкий язык этой бешеной фурии, обвинявшей его во всеуслышанье в том, что он потворствует праздным наклонностям ее легкомысленного супруга.

Бедняга Рип был доведен, таким образом, почти до отчаяния; единственное, что ему оставалось, чтобы избавиться от работы на ферме и брани жены, – это взять в руки ружье и отправиться бродить по лесам. Здесь присаживался он иногда к подножию дерева и делился содержимым своей охотничьей сумки с Волком, к которому испытывал сострадание,

как к товарищу по несчастью. «Бедный Волк, – говаривал он в таких случаях, – твоя хозяйка устраивает тебе чертовски собачью жизнь? Ничего, приятель, пока я жив, есть кому за тебя постоять!» Волк помахивал хвостом, устремлял грустный взгляд на хозяина, и, если собаки способны сочувствовать людям, я и впрямь готов верить, что он от всего сердца отвечал Рипу взаимностью.

Как-то в погожий осенний день, совершая вылазку подобного рода, Рип неприметно для себя самого взобрался на одну из самых высоких вершин Каатскильских гор. Он предавался излюбленной им охоте на белок, и безлюдные горы отвечали многократным эхом на его выстрелы. Уже к вечеру, тяжело дыша от усталости, прилег он на зеленый, поросший горной травой бугор у самого края пропасти. Оттуда, сквозь просветы между деревьями, он видел обширную, тянувшуюся на многие мили равнину, покрытую густым лесом. Где-то внизу – там, далеко-далеко, – величаво и безмолвно катил свои воды могучий Гудзон (лишь изредка на его зеркальном лоне можно было заметить отражение багряного облачка или паруса медлительного, как бы застывшего на месте, суденышка), но и самый Гудзон терялся наконец в синеве дальних предгорий.

С противоположной стороны перед ним открывалась глубокая, зажатая горами лощина – дикая, пустынная, взъерошенная, – дно которой, заваленное обломками нависших сверху утесов, было едва освещено отсветами лучей заходящего солнца. Рип лежал и задумчиво глядел на эту картину; наступал вечер; горы отбрасывали длинные синие тени, закрывая ими долины. Рип понял, что стемнеет гораздо раньше, чем он успеет достигнуть деревни, и, тяжело вздохнув, представил себе грозную встречу, уготованную ему госпожою Ван Винкль.

Вдруг, когда он собрался уже спускаться с горы, до него донесся издали окрик: «Рип Ван Винкль! Рип Ван Винкль!» Рип взглянул во все стороны, но кругом никого не было, кроме вороны, направлявшей свой одинокий полет через горы. Он решил, что воображение обмануло его, и снова приготовился к спуску, как вдруг услышал тот же голос, отчетливо прозвучавший в тихом вечернем воздухе: «Рип Ван Винкль! Рип Ван Винкль!» В то же мгновение Волк ошетинился, зарычал, прижался к хозяину и замер, испуганно смотря вниз. Теперь и Рип проникся какой-то смутной тревогой; он устремил беспокойный взгляд в направлении, подсказанном ему Волком, и различил наконец причудливую фигуру какого-то человека, с усилием взбиравшегося на скалы и сгибавшегося под тяжестью ноши, которую он тащил на спине. Рип удивился, встретив человеческое существо в такой пустынной и обычно никем не посещаемой местности, но, решив, что это кто-нибудь из окрестных жителей, нуждающийся в его помощи, поспешил на зов и начал спускаться.

Приблизившись, он еще больше поразился странной наружности незнакомца. Перед ним стоял маленький коренастый старик с густой гривой волос и седой бородой. Одет он был по старинной голландской моде: в суконный камзол, перетянутый у пояса ремнем, и несколько пар штанов, причем верхние, необыкновенно широкие, были украшены сбоку рядами пуговиц, а у колен – бантами. Он тащил на плече изрядный бочонок, очевидно наполненный водкой, и подавал Рипу знаки, прося его приблизиться и помочь. Хотя Рип несколько оробел и не чувствовал особого доверия к незнакомцу, все же он со всегдашней готовностью откликнулся на его просьбу, и вот, помогая друг другу, они стали карабкаться вверх по промоине, представлявшей собой, очевидно, высохшее русло ручья.

Во время подъема Рип не раз слышал глухие удары, напоминавшие раскаты далекого грома. Они доносились, казалось, из глубокого, вытянутого в длину оврага, или, вернее, ущелья между высокими скалами; к нему-то и вела та неровная, усыпанная щебнем тропа, которою они шли. Рип на мгновение остановился и, рассудив, что это, должно быть, отдаленный гул быстротечного грозового ливня, какой часто бывает в горах, тронулся дальше. Пройдя ущелье, они вышли в лощину, похожую на маленький амфитеатр. Ее со всех сторон окружали отвесные кручи, с краев которых свешивались ветви деревьев, так что снизу можно было увидеть лишь

клочки лазурного неба или порою яркое вечернее облачко. За все это время ни Рип, ни его спутник не проронили ни слова, и хотя первый ломал себе голову, чего ради тащить бочонок с водкой в дикие, пустынные горы, он так и не решился обратиться за разъяснением к старику, ибо в нем было что-то необыкновенное и непостижимое, внушавшее страх и исключавшее возможность сближения.

Добравшись до амфитеатра, Рип увидел немало достойного удивления. Посредине, на гладкой площадке, компания странных личностей резалась в кегли. На них было причудливое иноземное платье: одни – в кургузых куртках, другие в камзолах, с длинными ножами у пояса, и почти все в таких же необъятных штанах, какие были на проводнике Рипа. Но и помимо платья все в их наружности было необычайно: у одного – огромная голова, широкое лицо и крошечные свиные глазки; лицо другого (на нем был белый колпак, похожий на сахарную голову и украшенный красным петушьим перышком) состояло, казалось, из одного носа. У всех были бороды различной формы и различного цвета. Один из них был, по-видимому, начальником; на этом дюжем пожилом джентльмене с обветренным красным лицом был кафтан с галунами, широкий пояс и кортик, а также шляпа с высокой тульей и перьями, красные чулки и башмаки на высоченнейших каблуках, украшенные спереди пряжками. Вся группа в целом напомнила Рипу картину фламандского живописца в гостиной Ван Шайка, деревенского пастора, привезенную из Голландии еще первыми поселенцами.

Но вот что больше всего поразило Рипа: хотя эти ребята, судя по всему, развлекались от всего сердца, они удерживали на своих лицах неизменно суровое выражение и хранили таинственное молчание; никогда еще Рипу не доводилось присутствовать при столь унылой забаве. Кроме стука шаров, который будил в горах громкое эхо, грохотавшее подобно громовым раскатам, ничто не нарушало безмолвия этой сцены.

Когда Рип со своим спутником подошли ближе, эти люди разом прервали игру, и каждый из них уставился на него упорным, как у изваяния, взглядом; их лица были такие странные, такие чужие, такие безжизненные, что у Рипа екнуло сердце и задрожали поджилки. Между тем его спутник стал разливать содержимое бочонка по большим кубкам и знаком показал Рипу, что их следует поднести играющим. Рип повиновался со страхом и дрожью; в глубоком молчании проглотили они напиток и вернулись к игре.

Мало-помалу Рип освоился с окружающим. Его страх и тревога прошли. Он осмелился даже – разумеется, лишь тогда, когда никто не глядел в его сторону, – отведать напитка и нашел, что по вкусу и запаху это отменная голландская водка. И так как по натуре своей он был вечно жаждущей душой, его вскоре стало томить искушение, не хлебнуть ли еще разочек. Но поскольку один глоток влечет за собой другие, он прихлебывал себе да прихлебывал, так что сознание его в конце концов затуманилось, голова стала тяжелой и опустилась на грудь, и он погрузился в глубокий сон.

Проснувшись, Рип увидел себя на том же зеленом бугре, с которого он впервые заметил вчерашнего старика из ущелья. Он протер глаза – было яркое, ясное утро. В кустах порхали и чирикали птички; кружа высоко в небе, парил орел, подставляя грудь чистому горному ветру. «Неужто, – подумал Рип, – я провел тут всю эту ночь?» Он припомнил все происшедшее с ним перед тем, как он задремал. Странный человек с бочонком голландской водки... овраг в горах... дикий уголок среди скал... унылая партия в кегли... кубок... «Ох, этот кубок, – подумал Рип, – этот проклятый кубок! Как же мне оправдаться перед госпожой Ван Винкль?»

Он осмотрелся, разыскивая свое ружье, но, вместо нового, отлично смазанного дробовика, нашел рядом с собою какой-то ветхий самопал; ствол был изъеден ржавчиной, замок отвалился, червями источено ложе. Он заподозрил, что давешние суровые и немые гуляки, которых он встретил в горах, сыграли с ним шутку и, напоив водкой, подменили его ружье. Волк тоже исчез; впрочем, он мог заблудиться, погнавшись за куропаткой или белкой.

Рип свистнул и кликнул его по имени – все было напрасно. На его свист и крики многократно ответило эхо, собаки же нигде не было.

Он решил еще раз навестить место вчерашней вечерней забавы; если встретится кто-нибудь из игроков, он потребует с него ружье и собаку. Поднявшись на ноги, чтобы выполнить это намерение, он почувствовал ломоту в суставах и заметил, что ему недостает былой легкости и подвижности.

«Уж эти постели в горах; видать, они не для меня, – подумал Рип, – и если после такой прогулочки я схвачу ко всему еще ревматизм, попадет же мне от хозяйки Ван Винкль!» С трудом спустившись в овраг, он отыскал промоину, по которой вчера вечером поднимался со своим спутником в гору. К его изумлению, по ней теперь, пенясь, несясь, перескакивая со скалы на скалу и оглашая овраг ревом и рокотом, бурный горный поток. Рип тем не менее стал карабкаться вверх вдоль его берега, и ему пришлось пробираться сквозь заросли лавра, березняка и лещинник, путаясь и по временам увязая среди густых лоз дикого винограда, который, цепляясь за деревья своими усиками и завитками, соткал на его пути своеобразную сеть.

Наконец добрался он до того места в ущелье, где между утесами должен был открыться проход в амфитеатр, но больше не было и следа такого прохода. Скалы вздымались отвесной непреодолимой стеной; сверху легкою полосой перистой пены несясь поток, низвергавшийся в просторный водоем, глубокий и черный, укутанный тенью растущего вокруг леса. Здесь бедный Рип поневоле остановился. Он еще раз свистнул и позвал своего пса, но в ответ донеслось лишь карканье праздных ворон, кружившихся высоко в воздухе над сухим деревом, свисавшим в озаренную солнцем пропасть; вороны, чувствуя себя в безопасности – еще бы, на такой высоте! – поглядывали насмешливо вниз и потешались, казалось, над затруднениями бедняги. Что теперь делать? Утро проходило, он испытывал голод: он ведь не завтракал! Его огорчала потеря ружья и собаки, он страшился встречи с женой, но не помирять же с голоду в этих горах! Покачав головою, он взвалил на плечо ржавый самопал и с сердцем, исполненным забот и тревоги, направился восвояси.

Подходя к деревне, Рип повстречал несколько человек, но среди них никого, кто был бы ему знаком; это несколько удивило его, ибо он думал, что у себя в округе знает всякого встречного и поперечного. Одежда их к тому же была совсем другого покроя, чем тот, к которому он привык. Все они, как один, удивленно пялили на Рипа глаза и всякий раз, взглянув на него, неизменно хватались за подбородок. Видя постоянное повторение этого жеста, Рип невольно последовал их примеру и, к своему изумлению, обнаружил, что у него выросла борода длиной в добрый фут!

Он вошел наконец в деревню. Ватага незнакомых ребят следовала за ним по пятам; они гикали и указывали пальцем на его белую бороду. Собаки – но и среди них не было ни одной старой знакомой – бросались на него, надрываясь от лая. Да и деревня тоже переменялась – она разрослась и сделалась многолюдней. Перед ним тянулись ряды домов, которых он никогда не видел, а между тем хорошо известные ему домики исчезли бесследно. Чужие имена на дверях, чужие лица в окнах – все стало чужое. Было от чего потерять голову; Рип начал думать, уж не подпали ли во власть колдовских чар и он сам, и весь окружающий мир. Конечно, и в этом не могло быть сомнений, – пред ним была родная деревня, которую он покинул только вчера. Там высятся Каатскильские горы, вдалеке серебрится быстрый Гудзон, а вот – те же холмы и долины, которые были тут испокон века. Рип не на шутку смешался. «Вчерашний кубок, – подумал он, – задурил мне, видимо, голову».

Не без труда нашел он дорогу к своему дому, к которому, кстати сказать, подходил с немим страхом, ожидая, что вот-вот раздастся пронзительный голос госпожи Ван Винкль. Дом оказался в полном упадке: крыша обвалилась, окна разбиты, двери сорваны с петель. Вокруг дома бродила тощая, полуголодная, похожая на Волка собака. Рип кликнул ее, но она

с ворчанием оскалила зубы и удалилась. Это было уж вовсе обидно. «Моя собственная собака, – вздохнул бедный Рип, – и та забыла меня».

Он вошел в дом, который госпожа Ван Винкль, надо отдать справедливость, всегда содержала в чистоте и порядке. Дом был пуст, заброшен и, очевидно, покинут. Такое запустение заставило его забыть всякий страх перед супругой, и он стал громко звать ее и детей; пустые комнаты на мгновение огласились звуками его голоса; затем снова воцарилась мертвая тишина.

Рип торопливо вышел из дому и зашагал к своему бывшему приюту и утешению – деревенскому кабачку; но и кабачок бесследно исчез! На его месте стояла большая покосившаяся деревянная постройка, зияющая широкими окнами; некоторые из них были разбиты и заткнуты старыми шляпами или юбками; над входом в строение красовалась вывеска: *Гостиница «Союз» Джонатана Дулитля*. Вместо могучего дерева, под сенью которого безмятежно ютился когда-то скромный голландский кабачок, торчал простой голый шест с чем-то вроде красного ночного колпака на самой верхушке. На шесте развевался также флаг с изображением каких-то звезд и полос. Все это было чрезвычайно странно и непонятно. Рип разглядел, впрочем, на вывеске, под которой не раз мирно курил свою трубку, румяное лицо короля Георга III, но и тот тоже изменился самым поразительным образом. Красный мундир стал синим со светло-желтой отделкой; вместо скипетра в руке оказалась шпага; голову венчала треугольная шляпа, и внизу крупными буквами было выведено: *Генерал Вашингтон*.

Как всегда, у дверей толклось много народу, но среди них не было никого, кого бы Рип помнил. Изменился, казалось, даже самый характер людей. Вместо бывлой невозмутимости и сонного спокойствия во всем проступали деловитость, напористость, суетливость. Рип тщетно искал глазами, где же мудрый Николас Веддер с его широким лицом, двойным подбородком и славною длинною трубкой, взамен праздных речей наделявший своих собеседников густыми клубами табачного дыма, или школьный учитель Ван Буммель, пережевывавший содержание старой газеты. Вместо них тощий, желчного вида субъект, карманы которого были битком набиты какими-то печатными афишками, шумно разглагольствовал о гражданских правах, о выборах, о членах Конгресса, о свободе, о Бэнкерс-Хилле, о героях 1776 года и о многом другом, так что речь его показалась ошеломленному Рипу каким-то вавилонским смешением языков.

Появление Рипа, его длинная белая борода, ржавое-прержавое ружье, чудная одежда и целая армия женщин и ребятишек, следовавших за ним по пятам, немедленно привлекли внимание трактирных политиканов. Они обступили его и с великим любопытством стали разглядывать с головы до пят и с пят до головы. Оратор в мгновение ока очутился возле Рипа и, отведя его в сторону, спросил, за кого он будет голосовать. Рип недоуменно уставился на него. Не успел он опомниться, как какой-то низкорослый и юркий маленький человечек дернул его за рукав, поднялся на носки и зашептал ему на ухо: «Кто же вы – федералист, демократ?» Рип и на этот раз не понял ни слова. Вслед за тем недоверчивый и самонадеянный пожилой джентльмен в треуголке с острыми концами пробился к нему сквозь толпу, расталкивая всех и слева и справа локтями, и остановился перед Рипом Ван Винклем; уперев одну руку в бок, опираясь другою на трость и проникая как бы в самую душу его своим пристальным взглядом и острием своей треуголки, он строго спросил, на каком основании тот явился на выборы вооруженным и чего ради привел с собою толпу: уж не намерен ли он поднять в деревне мятеж?

– Помилуйте, джентльмены! – воскликнул Рип, окончательно сбитый с толку. – Я человек бедный и мирный, уроженец здешних мест и верный подданный своего короля, да благословит его Бог!

Тут поднялся отчаянный шум:

– Тори! Тори! Шпион! Эмигрант! Держи его! Долой!

Самонадеянный человек в треуголке с превеликим трудом восстановил наконец порядок и, придав себе еще больше важности и суровости, снова спросил неведомого преступ-

ника: зачем он явился сюда и кого он разыскивает? Бедняга Рип стал смиренно доказывать, что ничего худого он не замыслил и явился сюда лишь затем, чтобы повидать кого-нибудь из соседей, обычно собирающихся возле трактира.

– Отлично, но кто же они? Назовите их имена!

Рип задумался на минутку, потом сказал:

– Николас Веддер.

Воцарилось молчание; его нарушил какой-то старик, который тонким, визгливым голосом пропищал:

– Николас Веддер? Вот уже восемнадцать лет, как он скончался и отошел в лучший мир. На его могиле на кладбище поставили деревянный памятник, и все о нем было там сказано, но и тот развалился.

– Ну а где же Бром Детчер?

– Ах, этот! Еще в начале войны он отправился в армию; одни утверждают, что он убит при взятии приступом Стони-Пойнт, другие – будто утонул во время бури у Антонова Носа. Не знаю, кто из них прав. Он так и не вернулся назад.

– А где Ван Буммель, учитель?

– Он тоже ушел на войну, стал важным генералом и теперь заседает в Конгрессе.

Услышав о переменах, происшедших в родной деревне, о жестокой судьбе, отнявшей у него старых друзей, и рассудив, что он остался теперь один-одинешенек на всем белом свете, Рип почувствовал, как сердце его сжимается и замирает. К тому же каждый ответ порождал в нем глубокое недоумение, ибо дело шло о больших отрезках времени и о событиях, которые не укладывались в его сознании: война, Конгресс, Стони-Пойнт. Он не решился спрашивать о прочих друзьях и вскричал в полном отчаянии:

– Неужели никто тут не знает Рипа Ван Винкля?

– Ах, Рип Ван Винкль! – раздались голоса в толпе. – Ну еще бы! Вот он, Рип Ван Винкль, вот он стоит, прислонившись к дереву.

Рип взглянул в указанном направлении и увидел своего двойника, совершенно такого, каким был он, отправляясь в горы. Это был, по-видимому, такой же ленивец и, во всяком случае, такой же оборвыш! Бедняга Рип окончательно растерялся. Он усомнился в себе самом: кто же он – Рип Ван Винкль или кто-то другой? И пока он стоял в замешательстве, человек в треуголке обратился к нему с вопросом:

– Кто же вы и как вас зовут?

– Бог его знает! – воскликнул Рип, теряя рассудок. – Ведь я вовсе не я... я – кто-то другой... Вчера вечером я был настоящий, но я провел эту ночь среди гор, и мне подменили ружье; все переменялось, я переменялся, и я не могу сказать, как меня зовут и кто я такой.

Тут присутствующие начали переглядываться, перемигиваться, покачивать головой и многозначительно постукивать себя по лбу.

В толпе зашептались о том, что неплохо отнять у старого деда ружье, а не то, пожалуй, он натворит каких-нибудь бед. При одном упоминании о подобной возможности самонадеянный человек в треуголке поспешно ретировался. В эту решительную минуту молодая миловидная женщина, протолкавшись вперед, подошла взглянуть на седобородого старца. На руках у нее был толстощекий малыш, который при виде Рипа заорал благим матом.

– Молчи, Рип! – вскричала она. – Молчи, дурачок: дедушка тебе худого не сделает.

Имя ребенка, внешность матери, ее голос – все это пробудило в Рипе вереницу далеких воспоминаний.

– Как тебя зовут, милая? – спросил он.

– Джудит Гарденир.

– А как звали твоего отца?

– Его, беднягу, звали Рипом Ван Винклем, но вот уже двадцать лет, как он ушел из дому с ружьем на плече, и с той поры о нем ни слуху ни духу. Собака одна вернулась домой, но что стало с отцом, застрелил ли он сам себя или его захватили индейцы, – никто на это вам не ответит. Я была тогда совсем маленькой девочкой.

Рипу не терпелось выяснить еще одно обстоятельство, и с дрожью в голосе он задал последний вопрос:

– Ну, а где твоя мать?

– Она тоже скончалась; это случилось недавно. У нее лопнула жила – она повздорила с корабейником из Новой Англии.

По крайней мере, хоть это известие заключало в себе кое-что утешительное. Бедняга не мог дольше сдерживаться.

В одно мгновение и дочь, и ребенок оказались в его объятиях.

– Я – твой отец! – вскричал он взволнованно. – Я – Рип Ван Винкль, когда-то молодой, а теперь старик Рип Ван Винкль. Неужели никто на свете не признает беднягу Рипа Ван Винкля?

Все пялили на него глаза. Какая-то маленькая старушка, пошатываясь от слабости, вышла наконец из толпы, прикрыла ладонью глаза и, взглядевшись в его лицо, воскликнула:

– Ну, конечно! Это же – Рип Ван Винкль, он самый! Добро пожаловать, дорогой сосед-душка! Где же ты пропадал, старина, в продолжение долгих двадцати лет?

История Рипа была на редкость короткой, ибо целое двадцатилетие пролетело для него, как одна летняя ночь. Окружающие, слушая Рипа, уставились на него и дивились его рассказу; впрочем, нашлись и такие, которые подмигивали друг другу и корчили рожи, а самонадеянный человек в треуголке, по миновании тревоги возвратившийся к месту происшествия, поджал губы и покачал головой; тут закачались и головы всех собравшихся.

Тогда решили узнать мнение старого Питера Вандердонка; как раз в этот момент он показался на дороге. Он был потомком историка с тем же именем, оставившего одно из первых описаний этой провинции. Питер был самым старым из местных жителей и знал назубок все примечательные события и преданья округи. Он тотчас же признал Рипа и заявил, что считает его рассказ вполне достоверным. Он заверил присутствующих, что Каатскильские горы, как подтверждает его предок-историк, искони кишели какими-то странными существами; передают, будто Хендрик Гудзон, впервые открывший и исследовавший реку и прилегающий край, раз в двадцать лет обозревает эти места вместе с командой своего «Полумесяца». Таким образом, он постоянно навещает область, бывшую ареною его подвигов, и присматривает бдительным оком за рекою и большим городом, нареченным его именем. Отцу Питера Вандердонка будто бы удалось однажды увидеть их: призраки были одеты в старинное голландское платье, они играли в кегли в лощине между горами; да и ему самому случилось как-то летом под вечер услышать стук шаров, похожий на раскаты далекого грома.

В конце концов толпа успокоилась и приступила к более важному делу – к выборам.

Дочь Рипа поселила его у себя. У нее был уютный, хорошо обставленный дом и рослый жизнерадостный муж, в котором Рип узнал одного из тех сорванцов, что забирались во время оно к нему на спину. Что касается сына и наследника Рипа, точной копии своего незадачливого отца, того самого, которого мы уже видели прислонившимся к дереву, то он работал на ферме у зятя и отличался унаследованной от Рипа-старшего склонностью заниматься всем, чем угодно, но только не собственным делом.

Рип возобновил свои вылазки и былые привычки; он разыскал также старых приятелей, но и они были не те: время не пощадило и их! По этой причине он предпочел сблизиться с представителями юного поколения, с которыми вскоре установил тесную дружбу.

Свободный от каких бы то ни было домашних обязанностей, достигнув того счастливого возраста, когда человек безнаказанно предается праздности, Рип занял старое место у порога

трактира. Его почитали как одного из патриархов деревни и как живую летопись давних «довоенных времен». Миновало немало дней, прежде чем он вошел в курс местных сплетен и уяснил себе поразительные события, происшедшие за время его многолетнего сна. Много чего пришлось узнать Рипу: узнал он и про Войну за независимость, и про свержение ига Старой Англии, и, наконец, что он сам превратился из подданного короля Георга III в свободного гражданина Соединенных Штатов. Сказать по правде, Рип плохо разбирался в политике: перемены в жизни государств и империй мало задевали его; ему был известен только один вид деспотизма, под гнетом которого он столь долго страдал, – деспотическое правление юбки. По счастью, этому деспотизму тоже пришел конец; сбросив со своей шеи ярмо супружества и не страшась больше тирании хозяйки Ван Винкль, он мог уходить из дому и возвращаться домой, когда пожелает. Всякий раз, однако, при упоминании ее имени он покачивал головой, пожимал плечами и возводил вверх глаза, что с одинаковым правом можно было считать выражением и покорности своей печальной судьбе, и радости по поводу неожиданного освобождения.

Рип рассказывал свою историю каждому новому постояльцу гостиницы мистера Дулитля. Было замечено, что вначале он всякий раз вносил в эту историю кое-что новое, вероятно, из-за того, что только недавно пробудился от своих сновидений. Под конец его история отлилась в тот самый рассказ, который я только что воспроизвел, и во всей округе не было мужчины, женщины или ребенка, которые не знали бы ее наизусть. Иногда, впрочем, выражались сомнения в ее достоверности; кое-кто уверял, что Рип попросту спятил и что его история и есть тот пункт помешательства, который никак не вышибить из его головы. Однако старые голландские поселенцы относятся к ней с полным доверием. И сейчас, услышав в разгар лета под вечер раскаты далекого грома, доносящиеся со стороны Каатскильских гор, они утверждают, что это Хендрик Гудзон и команда его корабля режутся в кегли. И все мужья здешних мест, ощущающие на себе женин башмак, когда им жить становится нелегко, мечтают о том, чтобы испытать забвения из кубка Рипа Ван Винкля.

Чарльз Диккенс

Рождественская песнь в прозе

Строфа первая

Святочный рассказ с привидениями

Начать с того, что Марли был мертв. Сомневаться в этом не приходилось. Свидетельство о его погребении было подписано священником, причетником, хозяином похоронного бюро и старшим могильщиком. Оно было подписано Скруджем. А уж если Скрудж прикладывал к какому-либо документу руку, эта бумага имела на бирже вес.

Итак, старик Марли был мертв, как гвоздь в притолоке.

Учтите: я вовсе не утверждаю, будто на собственном опыте убедился, что гвоздь, вбитый в притолоку, как-то особенно мертв, более мертв, чем все другие гвозди. Нет, я лично скорее отдал бы предпочтение гвоздю, вбитому в крышку гроба, как наиболее мертвому предмету из всех скобяных изделий. Но в этой поговорке сказалась мудрость наших предков, и если бы мой нечестивый язык посмел переиначить ее, вы были бы вправе сказать, что страна наша катится в пропасть. А посему да позволено мне будет повторить еще и еще раз: Марли был мертв, как гвоздь в притолоке.

Знал ли об этом Скрудж? Разумеется. Как могло быть иначе? Скрудж и Марли были компаньонами с незапамятных времен. Скрудж был единственным доверенным лицом Марли, его единственным уполномоченным во всех делах, его единственным душеприказчиком, его единственным законным наследником, его единственным другом и единственным человеком, который проводил его на кладбище. И все же Скрудж был не настолько подавлен этим печальным событием, чтобы его деловая хватка могла ему изменить, и день похорон своего друга он отметил заключением весьма выгодной сделки.

Вот я упомянул о похоронах Марли, и это возвращает меня к тому, с чего я начал. Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что Марли мертв. Это нужно отчетливо уяснить себе, иначе не будет ничего необычайного в той истории, которую я намерен вам рассказать. Ведь если бы нам не было доподлинно известно, что отец Гамлета скончался еще задолго до начала представления, то его прогулка ветреной ночью по крепостному валу вокруг своего замка едва ли показалась бы нам чем-то сверхъестественным. Во всяком случае, не более сверхъестественным, чем поведение любого пожилого джентльмена, которому пришла блажь прогуляться в полночь в каком-либо не защищенном от ветра месте, ну, скажем, по кладбищу Св. Павла, преследуя при этом единственную цель – поразить и без того расстроенное воображение сына.

Скрудж не вымарал имени Марли на вывеске. Оно красовалось там, над дверью конторы, еще годы спустя: СКРУДЖ и МАРЛИ. Фирма была хорошо известна под этим названием. И какой-нибудь новичок в делах, обращаясь к Скруджу, иногда называл его Скруджем, а иногда – Марли. Скрудж отзывался, как бы его ни окликнули. Ему было безразлично.

Ну и сквалыга же он был, этот Скрудж! Вот уж кто умел выжимать соки, вытягивать жилы, вколачивать в гроб, загребать, захватывать, заграбастывать, вымогать... Умел, умел старый греховодник! Это был не человек, а камень. Да, он был холоден и тверд, как камень, и еще никому ни разу в жизни не удалось высечь из его каменного сердца хоть искру сострадания. Скрытый, замкнутый, одинокий – он прятался как устрица в свою раковину. Душевный холод заморозил изнутри старческие черты его лица, заострил крючковатый нос, сморщил кожу на щеках, сковал походку, заставил посинеть губы и покраснеть глаза, сделал ледяным его

скрипучий голос. И даже его щетинистый подбородок, редкие волосы и брови, казалось, заиндевели от мороза. Он всюду вносил с собой эту леденящую атмосферу. Присутствие Скруджа замораживало его контору в летний зной, и он не позволял ей оттаять ни на полградуса даже на веселых Святках.

Жара или стужа на дворе – Скруджа это беспокоило мало. Никакое тепло не могло его обогреть, и никакой мороз его не пробирал. Самый яростный ветер не мог быть злее Скруджа, самая лютая метель не могла быть столь жестока, как он, самый проливной дождь не был так беспощаден. Непогода ничем не могла его пронять. Ливень, град, снег могли похвалиться только одним преимуществом перед Скруджем – они нередко сходили на землю в щедром изобилии, а Скруджу щедрость была неведома.

Никто никогда не останавливал его на улице радостным возгласом: «Милейший Скрудж! Как поживаете? Когда зайдете меня проведать?» Ни один нищий не осмеливался протянуть к нему руку за подаванием, ни один ребенок не решался спросить у него, который час, и ни разу в жизни ни единая душа не попросила его указать дорогу. Казалось, даже собаки, поводыри слепцов, понимали, что он за человек, и, завидев его, спешили утащить хозяина в первый попавшийся подъезд или в подворотню, а потом долго виляли хвостом, как бы говоря: «Да по мне, человек без глаз, как ты, хозяин, куда лучше, чем с дурным глазом».

А вы думаете, это огорчало Скруджа? Да нисколько. Он совершал свой жизненный путь, сторонясь всех, и те, кто его хорошо знал, считали, что отпугивать малейшее проявление симпатии ему даже как-то сладко.

И вот однажды – и притом не когда-нибудь, а в самый Сочельник – старик Скрудж корпел у себя в конторе над счетными книгами. Была холодная, унылая погода, да к тому же еще туман, и Скрудж слышал, как за окном прохожие сновали взад и вперед, громко топая по тротуару, отдуваясь и колотя себя по бокам, чтобы согреться. Городские часы на колокольне только что пробили три часа, но становилось уже темно, да в тот день и с утра все хмурилось, и огоньки свечей, затеплившихся в окнах соседних контор, ложились багровыми мазками на темную завесу тумана – такую плотную, что казалось, ее можно пощупать рукой. Туман заползал в каждую щель, просачивался в каждую замочную скважину, и даже в этом тесном дворе дома напротив, едва различимые за густой грязно-седой пеленой, были похожи на призраки. Глядя на клубы тумана, спускавшиеся все ниже и ниже, скрывая от глаз все предметы, можно было подумать, что сама Природа открыла где-то по соседству пивоварню и варит себе пиво к празднику.

Скрудж держал дверь конторы приотворенной, дабы иметь возможность приглядывать за своим клерком, который в темной маленькой каморке, вернее сказать чуланчике, переписывал бумаги. Если у Скруджа в камине угля было маловато, то у клерка и того меньше, – казалось, там тлеет один-единственный уголек. Но клерк не мог подбросить угля, так как Скрудж держал ящик с углем у себя в комнате, и стоило клерку появиться там с каминным совком, как хозяин начинал выражать опасение, что придется ему расстаться со своим помощником. Поэтому клерк обмотал шею потуже белым шерстяным шарфом и попытался обогреться у свечки, однако, не обладая особенно пылким воображением, и тут потерпел неудачу.

– С наступающим праздником, дядюшка! Желаю вам хорошенько повеселиться на Святках! – раздался жизнерадостный возглас. Это был голос племянника Скруджа. Молодой человек столь стремительно ворвался в контору, что Скрудж не успел поднять голову от бумаг, как племянник уже стоял возле его стола.

– Вздор! – проворчал Скрудж. – Чепуха!

Племянник Скруджа так разогрелся, бодро шагая по морозу, что казалось, от него пышет жаром, как от печки. Щеки у него рдели – прямо любо-дорого смотреть, глаза сверкали, а изо рта валил пар.

– Это Святки – чепуха, дядюшка? – переспросил племянник. – Верно, я вас не понял!

– Слыхали! – сказал Скрудж. – Повеселиться на Святках! А ты-то по какому праву хочешь веселиться? Какие у тебя основания для веселья? Или тебе кажется, что ты еще недостаточно беден?

– В таком случае, – весело отозвался племянник, – по какому праву вы так мрачно настроены, дядюшка? Какие у вас основания быть угрюмым? Или вам кажется, что вы еще недостаточно богаты?

На это Скрудж, не успев приготовить более вразумительного ответа, повторил свое «вздор» и присовокупил еще «чепуха!».

– Не ворчите, дядюшка, – сказал племянник.

– А что мне прикажешь делать, – возразил Скрудж, – ежели я живу среди таких остолопов, как ты? Веселые Святки! Веселые Святки! Да провались ты со своими Святками! Что такое Святки для таких, как ты? Это значит, что пора платить по счетам, а денег хоть шаром покати. Пора подводить годовой баланс, а у тебя из месяца в месяц никаких прибылей, одни убытки, и хотя к твоему возрасту прибавилась единица, к капиталу не прибавилось ни единого пенни. Да будь моя воля, – негодуя продолжал Скрудж, – я бы такого олуха, который бегают и кричит: «Веселые Святки! Веселые Святки!» – сварил бы живьем вместе с начинкой для святочного пудинга, а в могилу ему вогнал кол из остролиста.

– Дядюшка! – взмолился племянник.

– Племянник! – отрезал дядюшка. – Справляй свои Святки как знаешь, а мне предоставь справлять их по-своему.

– Справлять! – воскликнул племянник. – Так вы же их никак не справляете!

– Тогда не мешай мне о них забыть. Много проку тебе было от этих Святок! Много проку тебе от них будет!

– Мало ли есть на свете хороших вещей, от которых мне не было проку, – отвечал племянник. – Вот хотя бы и рождественские праздники. Но все равно, помимо благоговения, которое испытываешь перед этим священным словом, и благочестивых воспоминаний, которые неотделимы от него, я всегда ждал этих дней как самых хороших в году. Это радостные дни – дни милосердия, доброты, всепрощения. Это единственные дни во всем календаре, когда люди, словно по молчаливому согласию, свободно раскрывают друг другу сердца и видят в своих ближних – даже в неимущих и обездоленных – таких же людей, как они сами, бредущих одной с ними дорогой к могиле, а не какие-то существа иной породы, которым подобает идти другим путем. А посему, дядюшка, хотя это верно, что на Святках у меня еще ни разу не прибавилось ни одной монетки в кармане, я верю, что Рождество приносит мне добро и будет приносить добро, и да здравствует Рождество!

Клерк в своем закутке невольно захлопал в ладоши, но тут же, осознав все неприличие такого поведения, бросился мешать кочергой угли и погасил последнюю худосочную искру...

– Эй, вы! – сказал Скрудж. – Еще один звук, и вы отпразднуете ваши Святки где-нибудь в другом месте. А вы, сэр, – обратился он к племяннику, – вы, я вижу, краснобай. Удивляюсь, почему вы не в парламенте.

– Будет вам гневаться, дядюшка! Наведайтесь к нам завтра и отобедайте у нас.

Скрудж отвечал, что скорее он наведается к... Да, так и сказал, без всякого стеснения, и в заключение добавил еще несколько крепких словечек.

– Да почему же? – вскричал племянник. – Почему?

– А почему ты женился? – спросил Скрудж.

– Влюбился, вот почему.

– Влюбился! – проворчал Скрудж таким тоном, словно услышал еще одну отчаянную нелепость вроде «веселых Святок». – Ну, честь имею!

– Но послушайте, дядюшка, вы же и раньше не жаловали меня своими посещениями, зачем же теперь сваливаете все на мою женитьбу?

– Честь имею! – повторил Скрудж.

– Да я же ничего у вас не прошу, мне ничего от вас не надобно. Почему нам не быть друзьями?

– Честь имею! – сказал Скрудж.

– Очень жаль, что вы так непреклонны. Я ведь никогда не ссорился с вами и никак не пойму, за что вы на меня сердитесь. И все-таки я сделал эту попытку к сближению ради праздника. Ну что ж, я своему праздничному настроению не изменю. Итак, желаю вам веселого Рождества, дядюшка.

– Честь имею! – сказал Скрудж.

– И счастливого Нового года!

– Честь имею! – повторил Скрудж.

И все же племянник, покидая контору, ничем не выразил своей досады. В дверях он задержался, чтобы принести свои поздравления клерку, который хотя и окоченел от холода, тем не менее оказался теплее Скруджа и сердечно отвечал на приветствие.

– Вот еще один умалишенный! – пробормотал Скрудж, подслушавший ответ клерка. – Какой-то жалкий писец, с жалованьем в пятнадцать шиллингов, обремененный женой и детьми, а туда же – толкует о веселых Святках! От таких впору хоть в Бедлам сбежать!

А бедный умалишенный тем временем, выпустив племянника Скруджа, впустил новых посетителей. Это были два дородных джентльмена приятной наружности, в руках они держали какие-то папки и бумаги. Сняв шляпы, они вступили в контору и поклонились Скруджу.

– Скрудж и Марли, если не ошибаюсь? – спросил один из них, сверившись с каким-то списком. – Имею я удовольствие разговаривать с мистером Скруджем или мистером Марли?

– Мистер Марли уже семь лет как покоится на кладбище, – отвечал Скрудж. – Он умер в Сочельник, ровно семь лет назад.

– В таком случае мы не сомневаемся, что щедрость и широта натуры покойного в равной мере свойственна и пережившему его компаньону, – произнес один из джентльменов, предъявляя свои документы.

И он не ошибся, ибо они стоили друг друга, эти достойные компаньоны, эти родственные души. Услышав зловещее слово «щедрость», Скрудж нахмурился, покачал головой и возвратил посетителю его бумаги.

– В эти праздничные дни, мистер Скрудж, – продолжал посетитель, беря с конторки перо, – более чем когда-либо подобает нам по мере сил проявлять заботу о сырых и обездоленных, кои особенно страдают в такую суровую пору года. Тысячи бедняков терпят нужду в самом необходимом. Сотни тысяч не имеют крыши над головой.

– Разве у нас нет острогов? – спросил Скрудж.

– Острогов? Сколько угодно, – отвечал посетитель, кладя обратно перо.

– А работные дома? – продолжал Скрудж. – Они действуют по-прежнему?

– К сожалению, по-прежнему. Хотя, – заметил посетитель, – я был бы рад сообщить, что их прикрыли.

– Значит, и принудительные работы существуют, и закон о бедных остается в силе?

– Ни то ни другое не отменено.

– А вы было напугали меня, господа. Из ваших слов я готов был заключить, что вся эта благая деятельность по каким-то причинам свелась на нет. Рад слышать, что я ошибся.

– Будучи убежден в том, что все эти законы и учреждения ничего не дают ни душе, ни телу, – возразил посетитель, – мы решили провести сбор пожертвований в пользу бедняков, чтобы купить им некую толику еды, питья и теплой одежды. Мы избрали для этой цели Сочельник именно потому, что в эти дни нужда ощущается особенно остро, а изобилие дает особенно много радости. Какую сумму позволите записать от вашего имени?

– Никакой.

– Вы хотите жертвовать, не открывая своего имени?

– Я хочу, чтобы меня оставили в покое, – отрезал Скрудж. – Поскольку вы, джентльмены, пожелали узнать, чего я хочу, – вот вам мой ответ. Я не балую себя на праздниках и не имею средств баловать бездельников. Я поддерживаю упомянутые учреждения, и это обходится мне недешево. Нуждающиеся могут обращаться туда.

– Не все это могут, а иные и не хотят – скорее умрут.

– Если они предпочитают умирать, тем лучше, – сказал Скрудж. – Это сократит излишек населения. А кроме того, извините, меня это не интересует.

– Это должно бы вас интересовать.

– Меня все это совершенно не касается, – сказал Скрудж. – Пусть каждый занимается своим делом. У меня, во всяком случае, своих дел по горло. До свидания, джентльмены!

Видя, что настаивать бесполезно, джентльмены удалились, а Скрудж, очень довольный собой, вернулся к своим прерванным занятиям в необычно веселом для него настроении.

Меж тем за окном туман и мрак настолько сгустились, что на улицах появились факельщики, предлагавшие свои услуги – бежать впереди экипажей и освещать дорогу. Старинная церковная колоколя, чей древний осипший колокол целыми днями иронически косился на Скруджа из стрельчатого оконца, совсем скрылась из глаз, и колокол отзванивал часы и четверти где-то в облаках, сопровождая каждый удар таким жалобным дребезжащим тремоло, словно у него зуб на зуб не попадал от холода. А мороз все крепчал. В углу двора, примыкавшем к главной улице, рабочие чинили газовые трубы и развели большой огонь в жаровне, вокруг которой собралась толпа оборванцев и мальчишек. Они грели руки над жаровней и не сводили с пылающих углей зачарованного взора. Из водопроводного крана на улице сочилась вода, и он, позабытый всеми, понемногу обрастал льдом в тоскливом одиночестве, пока не превратился в унылую скользкую глыбу. Газовые лампы ярко горели в витринах магазинов, бросая красноватый отблеск на бледные лица прохожих, а веточки и ягоды остролиста, украшавшие витрины, потрескивали от жары. Зеленные и курятные лавки были украшены так нарядно и пышно, что превратились в нечто диковинное, сказочное, и невозможно было поверить, будто они имеют какое-то касательство к таким обыденным вещам, как купля-продажа. Лорд-мэр в своей величественной резиденции уже наказывал пяти десяткам поваров и дворецких не ударить в грязь лицом, дабы он мог встретить праздник как подобает, и даже маленький портняжка, которого он обложил накануне штрафом за появление на улице в нетрезвом виде и кровожадные намерения, уже размешивал у себя на чердаке свой праздничный пудинг, в то время как его тощая жена с тощим сынишкой побежали покупать говядину.

Все гуще туман, все крепче мороз! Лютый, пронизывающий холод! Если бы святой Дунстан вместо раскаленных щипцов хватил сатану за нос таким морозцем, вот бы тот взвыл от столь основательного щипка!

Некий юный обладатель довольно ничтожного носа, к тому же порядком уже искусанного прожорливым морозом, который вцепился в него, как голодная собака в кость, прильнул к замочной скважине конторы Скруджа, желая послать Рождество, но при первых же звуках святочного гимна:

Да пошлет вам радость Бог. Пусть ничто вас не печалит...

Скрудж так решительно схватил линейку, что певец в страхе бежал, оставив замочную скважину во власти любезного Скруджу тумана и еще более близкого ему по духу мороза.

Наконец пришло время закрывать контору. Скрудж с неохотой слез со своего высокого табурета, подавая этим безмолвный знак изнывавшему в чулане клерку, и тот мгновенно задул свечу и надел шляпу.

– Вы небось завтра вовсе не намерены являться на работу? – спросил Скрудж.

– Если только это вполне удобно, сэр.

– Это совсем неудобно, – сказал Скрудж, – и недобросовестно. Но если я удержу с вас за это полкроны, вы ведь будете считать себя обиженным, не так ли?

Клерк выдавил некоторое подобие улыбки.

– Однако, – продолжал Скрудж, – вам не приходит в голову, что я могу считать себя обиженным, когда плачу вам жалованье даром.

Клерк заметил, что это бывает один раз в году.

– Довольно слабое оправдание для того, чтобы каждый год, двадцать пятого декабря, запускать руку в мой карман, – произнес Скрудж, застегивая пальто на все пуговицы. – Но, как видно, вы во что бы то ни стало хотите прогулять завтра целый день. Так извольте после завтра явиться как можно раньше.

Клерк пообещал явиться как можно раньше, и Скрудж, продолжая ворчать, шагнул за порог. Во мгновение ока контора была заперта, а клерк, скатившись раз двадцать – дабы воздать дань Сочельнику – по ледяному склону Корнхилла вместе с оравой мальчишек (концы его белого шарфа так и развевались у него за спиной, ведь он не мог позволить себе роскошь иметь пальто), припустился со всех ног домой в Кемден-Таун – играть со своими ребятишками в жмурки.

Скрудж съел свой унылый обед в унылом трактире, где он имел обыкновение обедать, просмотрел все имевшиеся там газеты и, скоротав остаток вечера над приходе-расходной книгой, отправился домой спать. Он проживал в квартире, принадлежавшей когда-то его покойному компаньону. Это была мрачная анфилада комнат, занимавшая часть невысокого угрюмого здания в глубине двора. Дом этот был построен явно не на месте, и невольно приходило на ум, что когда-то на заре своей юности он случайно забежал сюда, играя с другими домами в прятки, да так и застрял, не найдя пути обратно. Теперь уж это был весьма старый дом и весьма мрачный, и, кроме Скруджа, в нем никто не жил, а все остальные помещения сдавались внаем под конторы. Во дворе была такая темень, что даже Скрудж, знавший там каждый булыжник, принужден был пробираться ощупью, а в черной подворотне дома клубился такой густой туман и лежал такой толстый слой инея, словно сам злой дух непогоды сидел там, погруженный в тяжелое раздумье.

И вот. Достоверно известно, что в дверном молотке, висевшем у входных дверей, не было ничего примечательного, если не считать его непомерно больших размеров. Неоспоримым остается и тот факт, что Скрудж видел этот молоток ежеутренне и ежевечерне с того самого дня, как поселился в этом доме. Не подлежит сомнению и то, что Скрудж отнюдь не мог похвалиться особенно живой фантазией. Она у него работала не лучше, а, пожалуй, даже и хуже, чем у любого лондонца, не исключая даже (а это сильно сказано!) городских советников, олдерменов и членов гильдии. Необходимо заметить еще, что Скрудж, упомянув днем о своем компаньоне, скончавшемся семь лет назад, больше ни разу не вспомнил о покойном. А теперь пусть мне кто-нибудь объяснит, как могло случиться, что Скрудж, вставив ключ в замочную скважину, внезапно увидел перед собой не колотушку, которая, кстати сказать, не подверглась за это время решительно никаким изменениям, а лицо Марли.

Лицо Марли. Оно не утопало в непроницаемом мраке, как все остальные предметы во дворе, а напротив того – излучало призрачный свет, совсем как гнилой омар в темном погребе. Оно не выражало ни ярости, ни гнева, а взирало на Скруджа совершенно так же, как смотрел на него покойный Марли при жизни, сдвинув свои бесцветные очки на бледный, как у мертвеца, лоб. Только волосы как-то странно шевелились, словно на них веяло жаром из горячей печи, а широко раскрытые глаза смотрели совершенно неподвижно, и это в сочетании с трупным цветом лица внушало ужас. И все же не столько самый вид или выражение этого лица было ужасно, сколько что-то другое, что было как бы вне его.

Скрудж во все глаза уставился на это диво, и лицо Марли тут же превратилось в дверной молоток.

Мы бы покривили душой, сказав, что Скрудж не был поражен и по жилам у него не пробежал тот холодок, которого он не ощущал с малолетства. Но после минутного колебания он снова решительно взялся за ключ, повернул его в замке, вошел в дом и зажег свечу.

Правда, он помедлил немного, прежде чем захлопнуть за собой дверь, и даже с опаской заглянул за нее, словно боясь увидеть косицу Марли, торчащую сквозь дверь на лестницу. Но на двери не было ничего, кроме винтов и гаек, на которых держался молоток, и, пробоормотав: «Тьфу ты, пропасть!» – Скрудж с треском захлопнул дверь.

Стук двери прокатился по дому, подобно раскату грома, и каждая комната верхнего этажа и каждая бочка внизу, в погребе виноторговца, отозвалась на него разноголосым эхом. Но Скрудж был не из тех, кого это может запугать. Он запер дверь на задвижку и начал не спеша подниматься по лестнице, оправляя по дороге свечу.

Вам знакомы эти просторные старые лестницы? Так и кажется, что по ним можно проехаться в карете шестерней и протащить что угодно. И разве в этом отношении они не напоминают слегка наш новый парламент? Ну, а по той лестнице могло бы пройти целое погребальное шествие, и если бы даже кому-то пришла охота поставить катафалк поперек, оглоблями – к стене, дверцами – к перилам, и тогда на лестнице осталось бы еще достаточно свободного места.

Не это ли послужило причиной того, что Скруджу почудилось, будто впереди него по лестнице сами собой движутся в полумраке похоронные дроги? Чтобы как следует осветить такую лестницу, не хватило бы и полдюжины газовых фонарей, так что вам нетрудно себе представить, в какой мере одинокая свеча Скруджа могла рассеять мрак.

Но Скрудж на это плевать хотел и двинулся дальше вверх по лестнице. За темноту денег не платят, и потому Скрудж ничего не имел против темноты. Все же, прежде чем захлопнуть за собой тяжелую дверь своей квартиры, Скрудж прошелся по комнатам, чтобы удостовериться, что все в порядке. И не удивительно – лицо покойного Марли все еще стояло у него перед глазами.

Гостиная, спальня, кладовая. Везде все как следует быть. Под столом – никого, под диваном – никого, в камине тлеет скупой огонек, миска и ложка ждут на столе, кастрюлька с жидкой овсянкой (коей Скрудж пользовал себя на ночь от простуды) – на полочке в очаге. Под кроватью – никого, в шкафу – никого, в халате, висевшем на стене и имевшем какой-то подозрительный вид, – тоже никого. В кладовой все на месте: ржавые каминные решетки, пара старых башмаков, две корзины для рыбы, трехногий умывальник и кочерга.

Удовлетворившись осмотром, Скрудж запер дверь в квартиру – запер, заметьте, на два оборота ключа, что вовсе не входило в его привычки. Оградив себя таким образом от всяких неожиданностей, он снял галстук, надел халат, ночной колпак и домашние туфли и сел у камина похлебать овсянки.

Огонь в очаге еле теплился – мало проку было от него в такую холодную ночь. Скруджу пришлось придвинуться вплотную к решетке и низко нагнуться над огнем, чтобы ощутить слабое дыхание тепла от этой жалкой горстки углей. Камин был старый-престарый, сложенный в незапамятные времена каким-то голландским купцом и облицованный диковинными голландскими изразцами, изображавшими сцены из Священного Писания. Здесь были Каины и Авели, дочери фараона и царицы Савские, Авраамы и Валтасары, ангелы, сходящие на землю на облаках, похожих на перины, и апостолы, пускающиеся в морское плавание на посудинах, напоминающих соусники, – словом, сотни фигур, которые могли бы занять мысли Скруджа. Однако нет – лицо Марли, умершего семь лет назад, возникло вдруг перед ним, ожившее вновь, как некогда жезл пророка, и заслонило все остальное. И на какой бы изразец Скрудж ни глянул, на каждом тотчас отчетливо выступала голова Марли – так, словно на гладкой поверхности

изразцов не было вовсе никаких изображений, но зато она обладала способностью воссоздавать образы из обрывков мыслей, беспорядочно мелькавших в его мозгу.

– Чепуха! – проворчал Скрудж и принялся шагать по комнате. Пройдясь несколько раз из угла в угол, он снова сел на стул и откинул голову на спинку. Тут взгляд его случайно упал на колокольчик. Этот старый, давным-давно ставший ненужным колокольчик был, с какой-то никому не ведомой целью, повешен когда-то в комнате и соединен с одним из помещений верхнего этажа. С безграничным изумлением и чувством неизъяснимого страха Скрудж заметил вдруг, что колокольчик начинает раскачиваться. Сначала он раскачивался еле заметно, и звона почти не было слышно, но вскоре он зазвонил громко, и ему начали вторить все колокольчики в доме.

Звон длился, вероятно, не больше минуты, но Скруджу эта минута показалась вечностью. Потом колокольчики смолкли так же внезапно, как и зазвонили, – все разом. И тотчас откуда-то снизу донеслось бряцание железа – словно в погребе кто-то волочил по бочкам тяжелую цепь. Невольно Скруджу припомнились рассказы о том, что, когда в домах появляются привидения, они обычно влачат за собой цепи.

Тут дверь погреба распахнулась с таким грохотом, словно выстрелили из пушки, и звон цепей стал доноситься еще явственнее. Вот он послышался уже на лестнице и начал приближаться к квартире Скруджа.

– Все равно вздор! – молвил Скрудж. – Не верю я в привидения.

Однако он изменился в лице, когда увидел одно из них прямо перед собой. Без малейшей задержки привидение проникло в комнату через запертую дверь и остановилось перед Скруджем. И в ту же секунду пламя, совсем было угасшее в очаге, вдруг ярко вспыхнуло, словно хотело воскликнуть: «Я узнаю его! Это – дух Марли!» – и снова померкло.

Да, это было его лицо. Лицо Марли. Да, это был Марли, со своей косицей, в своей неизменной жилетке, панталонах в обтяжку и сапогах. Кисточки на сапогах торчали, волосы на голове торчали, косица торчала, полы сюртука оттопыривались. Длинная цепь опоясывала его и волочилась за ним по полу на манер хвоста. Она была составлена (Скрудж отлично ее рассмотрел) из ключей, висячих замков, копилков, документов, грессбухов и тяжелых кошельков с железными застежками. Тело призрака было совершенно прозрачно, и Скрудж, разглядывая его спереди, отчетливо видел сквозь жилетку две пуговицы сзади на сюртуке.

Скруджу не раз приходилось слышать, что у Марли нет сердца, но до той минуты он никогда этому не верил.

Да он и теперь не мог этому поверить, хотя снова и снова сверлил глазами призрак и ясно видел, что он стоит перед ним, и отчетливо ощущал на себе его мертвящий взгляд. Он разглядел даже, из какой ткани сшит платок, которым была окутана голова и шея призрака, и подумал, что такого платка он никогда не видал у покойного Марли. И все же он не хотел верить своим глазам.

– Что это значит? – произнес Скрудж язвительно и холодно, как всегда. – Что вам от меня надобно?

– Очень многое. – Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что это голос Марли.

– Кто вы такой?

– Спроси лучше, кем я был?

– Кем же вы были в таком случае? – спросил Скрудж, повысив голос. – Для привидения вы слишком приве... разборчивы. – Он хотел сказать привередливы, но побоялся, что это будет смахивать на каламбур.

– При жизни я был твоим компаньоном, Джейкобом Марли.

– Не хотите ли вы... Не можете ли вы присесть? – спросил Скрудж, с сомнением вглядываясь в духа.

– Могу.

– Так сядьте.

Задавая свой вопрос, Скрудж не был уверен в том, что такое бестелесное существо в состоянии занимать кресло, и опасался, как бы не возникла необходимость в довольно щекотливых разъяснениях. Но призрак как ни в чем не бывало уселся в кресло по другую сторону камина. Казалось, это было самое привычное для него дело.

– Ты не веришь в меня, – заметил призрак.

– Нет, не верю, – сказал Скрудж.

– Что же, помимо свидетельства твоих собственных чувств, могло бы убедить тебя?

– Не знаю.

– Почему же ты не хочешь верить своим глазам и ушам?

– Потому что любой пустяк воздействует на них, – сказал Скрудж. – Чуть что неладно с пищеварением, и им уже нельзя доверять. Может быть, вы вовсе не вы, а непереваренный кусок говядины, или лишняя капля горчицы, или ломтик сыра, или непрожаренная картофелина. Может быть, вы явились не из царства духов, а из духовки, почему я знаю!

Скрудж был не очень-то большой остряк по природе, а сейчас ему и подавно было не до шуток, однако он пытался острить, чтобы хоть немного развеять страх и направить свои мысли на другое, так как, сказать по правде, от голоса призрака у него кровь стыла в жилах.

Сидеть молча, уставясь в эти неподвижные, остекленелые глаза, – нет, черт побери, Скрудж чувствовал, что он этой пытки не вынесет! И кроме всего прочего, было что-то невыразимо жуткое в загробной атмосфере, окружавшей призрака. Не то чтоб Скрудж сам ее ощущал, но он ясно видел, что призрак принес ее с собой, ибо, хотя тот и сидел совершенно неподвижно, волосы, полы его сюртука и кисточки на сапогах все время шевелились, словно на них дышало жаром из какой-то адской огненной печи.

– Видите вы эту зубочистку? – спросил Скрудж, переходя со страху в наступление и пытаясь хотя бы на миг отвлечь от себя каменно-неподвижный взгляд призрака.

– Вижу, – промолвило привидение.

– Да вы же не смотрите на нее, – сказал Скрудж.

– Не смотрю, но вижу, – был ответ.

– Так вот, – молвил Скрудж. – Достаточно мне ее проглотить, чтобы до конца дней моих меня преследовали злые духи, созданные моим же воображением. Словом, все это вздор! Вздор и вздор!

При этих словах призрак испустил вдруг такой страшный вопль и принялся так неистово и жутко греметь цепями, что Скрудж вцепился в стул, боясь свалиться без чувств. Но и это было еще ничто по сравнению с тем ужасом, который объял его, когда призрак вдруг размотал свой головной платок (можно было подумать, что ему стало жарко!) и у него отвалилась челюсть.

Заломив руки, Скрудж упал на колени.

– Пощади! – взмолился он. – Ужасное видение, зачем ты мучаешь меня!

– Суежный ум! – отвечал призрак. – Веришь ты теперь в меня или нет?

– Верю, – воскликнул Скрудж. – Как уж тут не верить! Но зачем вы, духи, блуждаете по земле и зачем ты явился мне?

– Душа, заключенная в каждом человеке, – возразил призрак, – должна общаться с людьми и, повсюду следуя за ними, соучаствовать в их судьбе. А тот, кто не исполнил этого при жизни, обречен мыкаться после смерти. Он осужден колесить по свету и – о, горе мне! – взирать на радости и горести людские, разделить которые он уже не властен, а когда-то мог бы – себе и другим на радость.

И тут из груди призрака снова исторгся вопль, и он опять загремел цепями и стал ломать свои бестелесные руки.

– Ты в цепях? – пролепетал Скрудж, дрожа. – Скажи мне – почему?

– Я ношу цепь, которую сам сковал себе при жизни, – отвечал призрак. – Я ковал ее звено за звеном и ярд за ярдом. Я опоясался ею по доброй воле и по доброй воле ее ношу. Разве вид этой цепи не знаком тебе?

Скруджа все сильнее пробирала дрожь.

– Быть может, – продолжал призрак, – тебе хочется узнать вес и длину цепи, которую таскаешь ты сам? В некий Сочельник семь лет назад она была ничуть не короче этой и весила не меньше. А ты ведь немало потрудился над нею с той поры. Теперь это надежная, увесистая цепь!

Скрудж глянул себе на ноги, ожидая увидеть обвивавшую их железную цепь ярдов ста длиной, но ничего не увидел.

– Джейкоб! – взмолился он. – Джейкоб Марли, старина! Поговорим о чем-нибудь другом! Утешь, успокой меня, Джейкоб!

– Я не приношу утешения, Эбинизер Скрудж! – отвечал призрак. – Оно исходит из иных сфер. Другие вестники приносят его – и людям другого сорта. И открыть тебе все то, что мне бы хотелось, я тоже не могу. Очень немного дозволено мне. Я не смею отдыхать, не смею медлить, не смею останавливаться нигде. При жизни мой дух никогда не улетал за тесные пределы нашей конторы, – слышишь ли ты меня! – никогда не блуждал за стенами этой норы – нашей меняльной лавки, – и годы долгих, изнурительных странствий ждут меня теперь.

Скрудж, когда на него нападало раздумье, имел привычку засовывать руки в карманы панталон. Размышляя над словами призрака, он и сейчас машинально сунул руки в карманы, не вставая с колен и не подымая глаз.

– Ты, должно быть, странствуешь не спеша, Джейкоб, – почтительно и смиренно, хотя и деловито заметил Скрудж.

– Не спеша! – фыркнул призрак.

– Семь лет как ты мертвец, – размышлял Скрудж. – И все время в пути!

– Все время, – повторил призрак. – И ни минуты отдыха, ни минуты покоя. Непрестанные угрызения совести.

– И быстро ты передвигаешься? – поинтересовался Скрудж.

– На крыльях ветра, – отвечал призрак.

– За семь лет ты должен был покрыть порядочное расстояние, – сказал Скрудж.

Услыхав эти слова, призрак снова испустил ужасающий вопль и так неистово загремел цепями, тревожа мертвое безмолвие ночи, что постовой полисмен имел бы полное основание привлечь его к ответственности за нарушение общественной тишины и порядка.

– О раб своих пороков и страстей! – вскричало привидение. – Не знать того, что столетия неустанного труда душ бессмертных должны кануть в вечность, прежде чем осуществится все добро, которому надлежит восторжествовать на земле! Не знать того, что каждая христианская душа, творя добро, пусть на самом скромном поприще, найдет свою земную жизнь слишком быстротечной для безграничных возможностей добра! Не знать того, что даже веками раскаяния нельзя возместить упущенную на земле возможность сотворить доброе дело. А я не знал! Не знал!

– Но ты же всегда хорошо вел свои дела, Джейкоб, – пробормотал Скрудж, который уже начал применять его слова к себе.

– Дела! – вскричал призрак, снова заламывая руки. – Забота о ближнем – вот что должно было стать моим делом. Общественное благо – вот к чему я должен был стремиться. Милосердие, сострадание, щедрость – вот на что должен был я направить свою деятельность. А занятия коммерцией – это лишь капля воды в безбрежном океане предназначенных мне дел.

И призрак потряс цепью, словно в ней-то и крылась причина всех его бесплодных сожалений, а затем грохнул ею об пол.

– В эти дни, когда год уже на исходе, я страдаю особенно сильно, – промолвило привидение. – О, почему, проходя в толпе ближних своих, я опускал глаза долу и ни разу не поднял их к той благословенной звезде, которая направила стопы волхвов к убогому крову! Ведь сияние ее могло бы указать и мне путь к хижине бедняка.

У Скруджа уже зуб на зуб не попадал – он был чрезвычайно напуган тем, что призрак все больше и больше приходит в волнение.

– Внемли мне! – вскричал призрак. – Мое время истекает.

– Я внемлю, – сказал Скрудж, – но пожалей меня, Джейкоб, не изъясняйся так возвышенно. Прошу тебя, говори попроще!

– Как случилось, что я предстал пред тобой в облике, доступном твоему зрению, – я тебе не открою. Незримый, я сидел возле тебя день за днем.

Открытие было не из приятных. Скруджа опять затрясло как в лихорадке, и он отер выступивший на лбу холодный пот.

– И поверь мне, это была не легкая часть моего искуса, – продолжал призрак. – И я прибыл сюда этой ночью, дабы возвестить тебе, что для тебя еще не все потеряно. Ты еще можешь избежать моей участи, Эбинизер, ибо я похлопотал за тебя.

– Ты всегда был мне другом, – сказал Скрудж. – Благодарю тебя.

– Тебя посетят, – продолжал призрак, – еще три Духа.

Теперь и у Скруджа отвисла челюсть.

– Уж не об этом ли ты похлопотал, Джейкоб, не в этом ли моя надежда? – спросил он упавшим голосом.

– В этом.

– Тогда... тогда, может, лучше не надо? – сказал Скрудж.

– Если эти Духи не явятся тебе, ты пойдешь по моим стопам, – сказал призрак. – Итак, ожидай первого Духа завтра, как только пробьет Час Полуночи.

– А не могут ли они прийти все сразу, Джейкоб? – робко спросил Скрудж. – Чтобы уж поскорее с этим покончить?

– Ожидай второго на следующую ночь в тот же час. Ожидай третьего – на третьи сутки в полночь, с последним ударом часов. А со мной тебе уже не суждено больше встретиться. Но смотри, для своего же блага запомни твердо все, что произошло с тобой сегодня.

Промолвив это, дух Марли взял со стола свой платок и снова обмотал им голову. Скрудж догадался об этом, услышав, как лязгнули зубы призрака, когда подтянутая платком челюсть стала на место. Тут он осмелился поднять глаза и увидел, что его потусторонний пришелец стоит перед ним, вытянувшись во весь рост и перекинув цепь через руку на манер шлейфа. Призрак начал пятиться к окну, и одновременно с этим рама окна стала потихоньку подыматься. С каждым его шагом она подымалась все выше и выше, и когда он достиг окна, оно уже было открыто.

Призрак поманил Скруджа к себе, и тот повиновался. Когда между ними оставалось не более двух шагов, призрак предостерегающе поднял руку. Скрудж остановился.

Он остановился не столько из покорности, сколько от изумления и страха. Ибо как только рука призрака поднялась вверх, до Скруджа донеслись какие-то неясные звуки: смутные и бесвязные, но невыразимо жалобные причитания и стоны, тяжкие вздохи раскаяния и горьких сожалений. Призрак прислушивался к ним с минуту, а затем присоединил свой голос к жалобному хору и, воспарив над землей, растаял во мраке морозной ночи за окном.

Любопытство пересилило страх, и Скрудж тоже приблизился к окну и выглянул наружу.

Он увидел сонмы привидений. С жалобными воплями и стенаниями они беспокойно носились по воздуху туда и сюда, и все, подобно духу Марли, были в цепях. Не было ни единого призрака, не отягощенного цепью, но некоторых (как видно, членов некоего дурного правительства) сковывала одна цепь. Многих Скрудж хорошо знал при жизни, а с одним пожилым

призраком в белой жилетке был когда-то даже на короткой ноге. Этот призрак, к щиколотке которого был прикован несгораемый шкаф чудовищных размеров, жалобно сетовал на то, что лишен возможности помочь бедной женщине, сидевшей с младенцем на руках на ступеньках крыльца. Да и всем этим духам явно хотелось вмешаться в дела смертных и принести добро, но они уже утратили эту возможность навеки, и именно это и было причиной их терзаний.

Туман ли поглотил призраки, или они сами превратились в туман – Скрудж так и не понял. Только они растаяли сразу, как и их призрачные голоса, и опять ночь была как ночь, и все стало совсем как прежде, когда он возвращался к себе домой.

Скрудж затворил окно и обследовал дверь, через которую проник к нему призрак Марли. Она была по-прежнему заперта на два оборота ключа, – ведь он сам ее запер, – и все засовы были в порядке. Скрудж хотел было сказать «чепуха!», но осекся на первом же слог. И то ли от усталости и пережитых волнений, то ли от разговора с призраком, который навеял на него тоску, а быть может, и от соприкосновения с Потусторонним Миром или, наконец, просто оттого, что час был поздний, но только Скрудж вдруг почувствовал, что его нестерпимо клонит ко сну. Не раздеваясь, он повалился на постель и тотчас заснул как убитый.

Строфа вторая

Первый из трех Духов

Когда Скрудж проснулся, было так темно, что, выглянув из-за полого, он едва мог отличить прозрачное стекло окна от непроницаемо черных стен комнаты. Он зорко вглядывался во мрак – зрение у него было острое, как у хорька, – и в это мгновение часы на соседней колокольне пробили четыре четверти. Скрудж прислушался.

К его изумлению часы гулко пробили шесть ударов, затем семь, восемь... – и смолкли только на двенадцатом ударе. Полночь! А он лег спать в третьем часу ночи! Часы били неправильно. Верно, в механизм попала сосулька. Полночь!

Скрудж нажал пружинку своего хронометра, дабы исправить скандальную ошибку церковных часов. Хронометр быстро и четко отзвонил двенадцать раз.

– Что такое? Быть того не может! – произнес Скрудж. – Выходит, я проспал чуть ли не целые сутки! А может, что-нибудь случилось с солнцем и сейчас не полночь, а полдень?

Эта мысль вселила в него такую тревогу, что он вылез из постели и ощупью добрался до окна. Стекло заиндевелю. Чтобы хоть что-нибудь увидеть, пришлось протереть его рукавом, но и после этого почти ничего увидеть не удалось. Тем не менее Скрудж установил, что на дворе все такой же густой туман и такой же лютый мороз и очень тихо и безлюдно – никакой суматохи, никакого переполоха, которые неминуемо должны были возникнуть, если бы ночь прогнала в неурочное время белый день и воцарилась на земле. Это было уже большим облегчением для Скруджа, так как иначе все его векселя стоили бы не больше, чем американские ценные бумаги, ибо, если бы на земле не существовало больше такого понятия, как день, то и формула: «... спустя три дня по получении сего вам надлежит уплатить мистеру Эбинизеру Скруджу или его приказу...» – не имела бы ровно никакого смысла.

Скрудж снова улегся в постель и стал думать, думать, думать, и ни до чего додуматься не мог. И чем больше он думал, тем больше ему становилось не по себе, а чем больше он старался не думать, тем неотвязней думал.

Призрак Марли нарушил его покой. Всякий раз, как он, по зрелом размышлении, решал, что все это ему просто приснилось, его мысль, словно растянутая до отказа и тут же отпущенная пружина, снова возвращалась в исходное состояние, и вопрос: «Сон это или явь?» – снова вставал перед ним и требовал разрешения.

Размышляя так, Скрудж пролежал в постели до тех пор, пока церковные часы не отзвонили еще три четверти, и тут внезапно ему вспомнилось предсказание призрака – когда часы пробьют час, к нему явится еще один посетитель. Скрудж решил бодрствовать, пока не пробьет урочный час, а принимая во внимание, что заснуть сейчас ему было не легче, чем вознестись живым на небо, это решение можно назвать довольно мудрым.

Последние четверть часа тянулись так томительно долго, что Скрудж начал уже сомневаться, не пропустил ли он, задремав, бой часов. Но вот до его настороженного слуха долетел первый удар.

– Динь-дон!

– Четверть первого, – принялся отсчитывать Скрудж.

– Динь-дон!

– Половина первого! – сказал Скрудж.

– Динь-дон!

– Без четверти час, – сказал Скрудж.

– Динь-дон!

– Час ночи! – воскликнул Скрудж, торжествуя. – И все! И никого нет!

Он произнес это прежде, чем услышал удар колокола. И тут же он прозвучал: густой, гулкий, заунывный звон – ЧАС. В то же мгновение вспышка света озарила комнату, и чья-то невидимая рука откинула полог кровати.

Да, повторяю, чья-то рука откинула полог его кровати, и притом не за спиной у него и не в ногах, а прямо перед его глазами. Итак, полог кровати был отброшен, и Скрудж, прыгнув на постели, очутился лицом к лицу с таинственным пришельцем, рука которого отдернула полог. Да, они оказались совсем рядом, вот как мы с вами, ведь я мысленно стою у вас за плечом, мой читатель.

Скрудж увидел перед собой очень странное существо, похожее на ребенка, но еще более на старичка, видимого словно в какую-то сверхъестественную подзорную трубу, которая отдаляла его на такое расстояние, что он уменьшился до размеров ребенка. Его длинные рассыпавшиеся по плечам волосы были белы, как волосы старца, однако на лице не видно было ни морщинки и на щеках играл нежный румянец. Руки у него были очень длинные и мускулистые, а кисти рук производили впечатление недюжинной силы. Ноги – обнаженные так же, как и руки, – поражали изяществом формы. Облачено это существо было в белоснежную тунику, подпоясанную дивно сверкающим кушаком, и держало в руке зеленую ветку остролиста, а подол его одеяния, в странном несоответствии с этой святочной эмблемой зимы, был украшен живыми цветами. Но что было удивительнее всего, так это яркая струя света, которая была у него из макушки вверх и освещала всю его фигуру. Это, должно быть, и являлось причиной того, что под мышкой Призрак держал гасилку в виде колпака, служившую ему, по видимому, головным убором в тех случаях, когда он не был расположен самоосвещаться.

Впрочем, как заметил Скрудж, еще пристальней взглядевшись в своего гостя, не это было наиболее удивительной его особенностью. Ибо, подобно тому как пояс его сверкал и переливался огоньками, которые вспыхивали и потухали то в одном месте, то в другом, так и вся его фигура как бы переливалась, теряя то тут, то там отчетливость очертаний, и Призрак становился то одноруким, то одноногим, то вдруг обрастал двадцатью ногами зараз, но лишался головы, то приобретал нормальную пару ног, то терял все конечности вместе с туловищем и оставалась одна голова. При этом, как только какая-нибудь часть его тела растворялась в непроницаемом мраке, казалось, что она пропадала совершенно бесследно. И не чудо ли, что в следующую секунду недостающая часть тела была на месте, и Привидение как ни в чем не бывало приобретало свой прежний вид.

– Кто вы, сэр? – спросил Скрудж. – Не тот ли вы Дух, появление которого было мне предсказано?

– Да, это я.

Голос Духа звучал мягко, даже нежно и так тихо, словно долетал откуда-то издалека, хотя Дух стоял рядом.

– Кто вы или что вы такое? – спросил Скрудж.

– Я – Святочный Дух Прошлых Лет.

– Каких прошлых? Очень давних? – осведомился Скрудж, приглядываясь к этому карлику.

– Нет, на твоей памяти.

Скруджу вдруг нестерпимо захотелось, чтобы Дух надел свой головной убор. Почему возникло у него такое желание, Скрудж, вероятно, и сам не мог бы объяснить, если бы это потребовалось, но так или иначе он попросил Привидение надеть колпак.

– Как! – вскричал Дух. – Ты хочешь своими нечистыми руками погасить благой свет, который я излучаю? Тебе мало того, что ты – один из тех, чьи пагубные страсти создали эту гасилку и вынудили меня год за годом носить ее, надвинув на самые глаза!

Скрудж как можно почтительнее заверил Духа, что он не имел ни малейшего намерения его обидеть и, насколько ему известно, никогда и ни при каких обстоятельствах не мог принуждать его к ношению колпака. Затем он позволил себе осведомиться, что привело Духа к нему.

– Забота о твоём благе, – отвечивал Дух.

Скрудж сказал, что очень ему обязан, а сам подумал, что не мешали бы ему лучше спать по ночам – вот это было бы благо. Как видно, Дух услышал его мысли, так как тотчас сказал:

– О твоём спасении, в таком случае. Берегись!

С этими словами он протянул к Скруджу свою сильную руку и легко взял его за локоть.

– Встань! И следуй за мной!

Скрудж хотел было сказать, что час поздний и погода не располагает к прогулкам, что в постели тепло, а на дворе холодище – много ниже нуля, что он одет очень легко – халат, колпак и ночные туфли, – а у него и без того уже насморк... но руке, которая так нежно, почти как женская, сжимала его локоть, нельзя было противиться. Скрудж встал с постели. Однако заметив, что Дух направляется к окну, он в испуге уцепился за его одеяние.

– Я простой смертный, – взмолился Скрудж, – я могу упасть.

– Дай мне коснуться твоей груди, – сказал Дух, кладя руку ему на сердце. – Это поддержит тебя, и ты преодолеешь и не такие препятствия.

С этими словами он прошел сквозь стену, увлекая за собой Скруджа, и они очутились на пустынной проселочной дороге, по обеим сторонам которой расстилались поля. Город скрылся из глаз. Он исчез бесследно, а вместе с ним рассеялись и мрак, и туман. Был холодный, ясный зимний день, и снег устилал землю.

– Боже милостивый! – воскликнул Скрудж, всплеснув руками и озираясь по сторонам. – Я здесь рос! Я бегал здесь мальчишкой!

Дух обратил к Скруджу кроткий взгляд. Его легкое прикосновение, сколь ни было оно мимолетно и невесомо, разбудило какие-то чувства в груди старого Скруджа. Ему чудилось, что на него повеяло тысячью запахов, и каждый запах будил тысячи воспоминаний о давным-давно забытых думах, стремлениях, радостях, надеждах.

– Твои губы дрожат, – сказал Дух. – А что это катится у тебя по щеке?

Скрудж срывающимся голосом – вещь для него совсем необычная – пробормотал, что это так, пустяки, и попросил Духа вести его дальше.

– Узнаешь ли ты эту дорогу? – спросил Дух.

– Узнаю ли я? – с жаром воскликнул Скрудж. – Да я бы прошел по ней с закрытыми глазами.

– Не странно ли, что столько лет ты не вспоминал о ней! – заметил Дух. – Идем дальше.

Они пошли по дороге, где Скруджу был знаком каждый придорожный столб, каждое дерево. Наконец вдали показался небольшой городок с церковью, рыночной площадью и мостом над прихотливо извивающейся речкой. Навстречу стали попадаться мальчишки верхом на трусивших рысцой косматых лошаденках или в тележках и двуколках, которыми правили фермеры. Все ребяташки задорно перекликались друг с другом, и над простором полей стоял такой веселый гомон, что морозный воздух, казалось, дрожал от смеха, радуясь их веселью.

– Все это лишь тени тех, кто жил когда-то, – сказал Дух. – И они не подозревают о нашем присутствии.

Веселые путники были уже совсем близко, и по мере того как они приближались, Скрудж узнавал их всех, одного за другим, и называл по именам. Почему он был так безмерно счастлив при виде их? Что блеснуло в его холодных глазах и почему сердце так запрыгало у него в груди, когда ребяташки поравнялись с ним? Почему душа его исполнилась умиления, когда он услышал, как, расставаясь на перекрестках и разъезжаясь по домам, они желают друг другу

веселых Святков? Что Скруджу до веселых Святков? Да пропади они пропадом! Был ли ему от них какой-нибудь прок?

– А школа еще не совсем опустела, – сказал Дух. – Какой-то бедный мальчик, позабытый всеми, остался там один-одинешенек.

Скрудж отвечал, что он это знает, и всхлипнул.

Они свернули с проезжей дороги на памятную Скруджу тропинку и вскоре подошли к красному кирпичному зданию, с увенчанной флюгером небольшой круглой башенкой, внутри которой висел колокол. Здание было довольно большое, но находилось в состоянии полного упадка. Расположенные во дворе обширные службы, казалось, пустовали без всякой пользы. На стенах их от сырости проступила плесень, стекла в окнах были выбиты, а двери сгнили. В конюшнях рылись и кудахтали куры, каретный сарай и навесы зарастали сорной травой. Такое же запустение царило и в доме.

Скрудж и его спутник вступили в мрачную прихожую; и, заглядывая то в одну, то в другую растворенную дверь, они увидели огромные холодные и почти пустые комнаты. В доме было сыро, как в склепе, и пахло землей, и что-то говорило вам, что здесь очень часто встают при свечах и очень редко едят досыта.

Они направились к двери в глубине прихожей. Дух впереди, Скрудж – за ним. Она распахнулась, как только они приблизились к ней, и их глазам предстала длинная комната с уныло голыми стенами, казавшаяся еще более унылой оттого, что в ней рядами стояли простые некрашенные парты. За одной из этих парт они увидели одинокую фигурку мальчика, читавшего книгу при скудном огоньке камина, и Скрудж тоже присел за парту и заплакал, узнав в этом бедном, всеми забытом ребенке самого себя, каким он был когда-то. Все здесь: писк и возня мышей за деревянными панелями, и доносившееся откуда-то из недр дома эхо, и звук капли из оттаявшего желоба на сумрачном дворе, и вздохи ветра в безлистных сучьях одинокого тополя, и скрип двери пустого амбара, раскачивающейся на ржавых петлях, и потрескивание дров в камине – все находило отклик в смягчившемся сердце Скруджа и давало выход слезам.

Дух тронул его за плечо и указал на его двойника – погруженного в чтение ребенка. Внезапно за окном появился человек в чужеземном одеянии, с топором, заткнутым за пояс. Он стоял перед ними как живой, держа в поводу осла, навьюченного дровами.

– Да это же Али-Баба! – не помня себя от восторга, вскричал Скрудж. – Это мой дорогой, старый, честный Али-Баба! Да, да, я знаю! Как-то раз на Святках, когда этот заброшенный ребенок остался здесь один, позабытый всеми, Али-Баба явился ему. Да, да, взаправду явился, вот как сейчас! Ах, бедный мальчик! А вот и Валентин и его лесной брат Орсон – вот они, вот! А этот, как его, ну тот, кого положили, пока он спал, в исподнем у ворот Дамаска, – разве вы не видите его? А вон конюх султана, которого джинны перевернули вверх ногами! Вон он – стоит на голове! Поделом ему! Я очень рад. Как посмел он жениться на принцессе!

То-то были бы поражены все коммерсанты лондонского Сити, с которыми Скрудж вел дела, если бы они могли видеть его счастливое, восторженное лицо и слышать, как он со всей присущей ему серьезностью несет такой вздор, да еще не то плачет, не то смеется самым диковинным образом!

– А вот и попугай! – восклицал Скрудж. – Сам зеленый, хвостик желтый, и на макушке хохолок, похожий на пучок салата. Вот он! «Бедный Робинзон Крузо, – сказал он своему хозяину, когда тот возвратился домой, проплыв вокруг острова. – Бедный Робинзон Крузо! Где ты был, Робинзон Крузо?» Робинзон думал, что это ему пригрезилось, только ничуть не бывало – это говорил попугай, вы же знаете. А вон и Пятница – мчится со всех ног к бухте! Ну же! ну! Скорей! – и тут же, с внезапностью, столь несвойственной его характеру, Скрудж, глядя на самого себя в ребячьем возрасте, вдруг преисполнился жалости и, повторяя: – Бедный, бедный мальчуган! – снова заплакал. – Как бы я хотел... – пробормотал он затем, утирая глаза

рукавом, и сунул руку в карман. Потом, оглядевшись по сторонам, добавил: – Нет, теперь уж поздно.

– А чего бы ты хотел? – спросил его Дух.

– Да ничего, – ответил Скрудж. – Ничего. Вчера вечером какой-то мальчуган запел святочную песню у моих дверей. Мне бы хотелось дать ему что-нибудь, вот и все.

Дух задумчиво улыбнулся и, взмахнув рукой, сказал:

– Поглядим на другое Рождество.

При этих словах Скрудж-ребенок словно бы подрос на глазах, а комната, в которой они находились, стала еще темнее и грязнее. Теперь видно было, что панели в ней рассохлись, оконные рамы растрескались, от потолка отвалились куски штукатурки, обнажив дранку. Но когда и как это произошло, Скрудж знал не больше, чем мы с вами. Он знал только, что так и должно быть, что именно так все и было. И снова он находился здесь совсем один, в то время как все другие мальчики отправились домой встречать веселый праздник.

Но теперь он уже не сидел за книжкой, а в унынии шагал из угла в угол.

Тут Скрудж взглянул на Духа и, грустно покачав головой, устремил в тревожном ожидании взгляд на дверь.

Дверь распахнулась, и маленькая девочка, несколькими годами моложе мальчика, вбежала в комнату. Кинувшись к мальчику на шею, она принялась целовать его, называя своим дорогим братцем.

– Я приехала за тобой, дорогой братец! – говорила малютка, всплескивая тоненькими ручонками, восторженно хлопая в ладоши и перегибаясь чуть не пополам от радостного смеха. – Ты поедешь со мной домой! Домой! Домой!

– Домой, малютка Фэн? – переспросил мальчик.

– Ну да! – воскликнуло дитя, сияя от счастья. – Домой! Совсем! Навсегда! Отец стал такой добрый, совсем не такой, как прежде, и дома теперь как в раю. Вчера вечером, когда я ложилась спать, он вдруг заговорил со мной так ласково, что я не побоялась – взяла и попросила его еще раз, чтобы он разрешил тебе вернуться домой. И вдруг он сказал: «Да, пускай приедет», – и послал меня за тобой. И теперь ты будешь настоящим взрослым мужчиной, – продолжала малютка, глядя на мальчика широко раскрытыми глазами, – и никогда больше не вернешься сюда. Мы проведем вместе все Святки, и как же мы будем веселиться!

– Ты стала совсем взрослой, моя маленькая Фэн! – воскликнул мальчик.

Девочка снова засмеялась, захлопала в ладоши и хотела погладить мальчика по голове, но не дотянулась и, заливаясь смехом, встала на цыпочки и обхватила его за шею. Затем, исполненная детского нетерпения, потянула его к дверям, и он с охотой последовал за ней.

Тут чей-то грозный голос закричал гулко на всю прихожую:

– Тащите вниз сундучок ученика Скруджа! – И сам школьный учитель собственной персоной появился в прихожей. Он окинул ученика Скруджа свирепо-снисходительным взглядом и пожал его руку, чем поверг его в состояние полной растерянности, а затем повел обоих детей в парадную гостиную, больше похожую на обледеневший колодец. Здесь, залубенев от холода, висели на стенах географические карты, а на окнах стояли земной и небесный глобусы. Достав графин необыкновенно легкого вина и кусок необыкновенно тяжелого пирога, он предложил детям полакомиться этими деликатесами, а тощему слуге велел вынести почтальону стаканчик «того самого», на что почтальон отвечал, что он благодарит хозяина, но если это «то самое», чем его уже раз потчевали, то лучше не надо. Тем временем сундучок юного Скруджа был водружен на крышу почтовой кареты, и дети, не мешкая ни секунды, распрощались с учителем, уселись в экипаж и весело покатали со двора. Быстро замелькали спицы колес, сбивая снег с темной листвы вечнозеленых растений.

– Хрупкое создание! – сказал Дух. – Казалось, самое легкое дуновение ветерка может ее погубить. Но у нее было большое сердце.

– О да! – вскричал Скрудж. – Ты прав, Дух, и не мне это отрицать, Боже упаси!
– Она умерла уже замужней женщиной, – сказал Дух. – И помнится, после нее остались дети.

– Один сын, – поправил Скрудж.

– Верно, – сказал Дух. – Твой племянник.

Скруджу стало как будто не по себе, и он буркнул:

– Да.

Всего секунду назад они покинули школу, и вот уже стояли на людной улице, а мимо них сновали тени прохожих, и тени повозок и карет катили мимо, прокладывая себе дорогу в толпе. Словом, они очутились в самой гуще шумной городской толчеи. Празднично разубранные витрины магазинов не оставляли сомнения в том, что снова наступили Святки. Но на этот раз был уже вечер, и на улицах горели фонари.

Дух остановился у дверей какой-то лавки и спросил Скруджа, узнает ли он это здание.

– Еще бы! – воскликнул Скрудж. – Ведь меня когда-то отдали сюда в обучение!

Они вступили внутрь. При виде старого джентльмена в парике, восседавшего за такой высокой конторкой, что, будь она еще хоть на два дюйма выше, голова его уперлась бы в потолок, Скрудж в неопишемом волнении воскликнул:

– Господи, спаси и помилуй! Да это же старикан Физзиуиг, живехонек!

Старый Физзиуиг отложил в сторону перо и поглядел на часы, стрелки которых показывали семь пополудни. С довольным видом он потер руки, обдернул жилетку на объемистом брюшке, рассмеялся так, что затрясся весь от сапог до бровей, – и закричал приятным, густым, веселым, зычным басом:

– Эй, вы! Эбинизер! Дик!

И двойник Скруджа, ставший уже взрослым молодым человеком, стремительно вбежал в комнату в сопровождении другого ученика.

– Да ведь это Дик Уилкинс! – сказал Скрудж, обращаясь к Духу. – Помереть мне, если это не он! Ну, конечно, он! Бедный Дик! Он был так ко мне привязан.

– Бросай работу, ребята! – сказал Физзиуиг. – На сегодня хватит. Ведь нынче Сочельник, Дик! Завтра Рождество, Эбинизер! Ну-ка мигом запирайте ставни! – крикнул он, хлопая в ладоши. – Живо, живо! Марш!

Вы бы видели, как они взялись за дело! Раз, два, три – они уже выскочили на улицу со ставнями в руках; четыре, пять, шесть – подставили ставни на место; семь, восемь, девять – задвинули и закрепили болты, и прежде чем вы успели бы сосчитать до двенадцати, уже влетели обратно, дыша, как призовые скакуны у финиша.

– Ого-го-го-го! – закричал старый Физзиуиг, с невиданным проворством выскакивая из-за конторки. – Тащите все прочь, ребятки! Расчистим-ка побольше места. Шевелись, Дик! Веселей, Эбинизер!

Тащить прочь! Интересно знать, чего бы они не оттащили прочь, с благословения старика. В одну минуту все было закончено. Все, что только по природе своей могло передвигаться, так бесследно сгинуло куда-то с глаз долой, словно было изъято из обихода навеки. Пол подмели и обрызгали, лампы оправили, в камин подбросили дров, и магазин превратился в такой хорошо натопленный, уютный, чистый, ярко освещенный бальный зал, какого можно только пожелать для танцев в зимний вечер.

Пришел скрипач с нотной папкой, встал за высоченную конторку, как за дирижерский пульт, и принялся так наяривать на своей скрипке, что она завизжала, ну прямо как целый оркестр. Пришла миссис Физзиуиг – сплошная улыбка, самая широкая и добродушная на свете. Пришли три мисс Физзиуиг – цветущие и прелестные. Пришли следом за ними шесть юных вздыхателей с разбитыми сердцами. Пришли все молодые мужчины и женщины, работающие в магазине. Пришла служанка со своим двоюродным братом – булочником. Пришла

кухарка с закадычным другом своего родного брата – молочником. Пришел мальчишка-подмастерье из лавки насупротив, насчет которого существовало подозрение, что хозяин морит его голодом. Мальчишка все время пытался спрятаться за девчонку – служанку из соседнего дома, про которую уже доподлинно было известно, что хозяйка дерет ее за уши. Словом, пришли все, один за другим, – кто робко, кто смело, кто неуклюже, кто грациозно, кто сталкивая других, кто таща кого-то за собой, – словом, так или иначе, тем или иным способом, но пришли все. И все пустились в пляс – все двадцать пар разом. Побежали по кругу пара за парой, сперва в одну сторону, потом в другую. И пара за парой – на середину комнаты и обратно. И закружились по всем направлениям, образуя живописные группы. Прежняя головная пара, уступив место новой, не успевала пристроиться в хвосте, как новая головная пара уже вступала – и всякий раз раньше, чем следовало, – пока наконец все пары не стали головными и все не перепуталось окончательно. Когда этот счастливый результат был достигнут, старый Физзиуиг захлопал в ладоши, чтобы приостановить танец, и закричал:

– Славно сплясали! – И в ту же секунду скрипач погрузил разгоряченное лицо в заранее припасенную кружку с пивом. Но, будучи решительным противником отдыха, он тотчас снова выглянул из-за кружки и, невзирая на отсутствие танцующих, опять запиликал, и притом с такой яростью, словно это был уже не он, а какой-то новый скрипач, задавшийся целью либо затмить первого, которого в полуобморочном состоянии оттащили домой на ставне, либо погнубить.

А затем снова были танцы, а затем фанты и снова танцы, а затем был сладкий пирог, и глинтвейн, и по большому куску холодного ростбифа, и по большому куску холодной отварной говядины, а под конец были жареные пирожки с изюмом и корицей и вволю пива. Но самое интересное произошло после ростбифа и говядины, когда скрипач (до чего же ловок, пес его возьми! Да, не нам с вами его учить, этот знал свое дело!) заиграл старинный контрданс «Сэр Роджер Каверли» и старый Физзиуиг встал и предложил руку миссис Физзиуиг. Они пошли в первой паре, разумеется, и им пришлось потрудиться на славу. За ними шло пар двадцать, а то и больше, и все – лихие танцоры, все – такой народ, что шутить не любят и уж коли возьмутся плясать, так будут плясать, не жалея пяток!

Но будь их хоть пятьдесят, хоть сто пятьдесят пар – старый Физзиуиг и тут бы не сплосшал, да и миссис Физзиуиг тоже. Да, она воистину была под стать своему супругу во всех решительно смыслах. И если это не высшая похвала, то скажите мне, какая выше, и я отвечу – она достойна и этой. От икр мистера Физзиуига положительно исходило сияние. Они сверкали то тут, то там, словно две луны. Вы никогда не могли сказать с уверенностью, где они окажутся в следующее мгновение. И когда старый Физзиуиг и миссис Физзиуиг проделали все фигуры танца, как положено, – и бегом вперед, и бегом назад, и, взявшись за руки, галопом, и поклон, и реверанс, и покружились, и нырнули под руки, и возвратились наконец на свое место, – старик Физзиуиг подпрыгнул и пристукнул в воздухе каблуками – да так ловко, что, казалось, ноги его подмигнули танцорам, – и тут же сразу стал как вкопанный.

Когда часы пробили одиннадцать, домашний бал окончился. Мистер и миссис Физзиуиг, став по обе стороны двери, пожимали руку каждому гостю или гостье и пожелали ему или ей веселых праздников. А когда все гости разошлись, хозяйева таким же манером распрощались и с учениками. И вот веселые голоса замерли вдали, двое молодых людей отправились к своим койкам в глубине магазина.

Пока длился бал, Скрудж вел себя как умалишенный. Всем своим существом он был с теми, кто там плясал, с тем юношей, в котором узнал себя. Он как бы участвовал во всем, что происходило, все припоминал, всему радовался и испытывал неизъяснимое волнение. И лишь теперь, когда сияющие физиономии Дика и юноши Скруджа скрылись из глаз, вспомнил он о Духе и заметил, что тот пристально смотрит на него, а сноп света у него над головой горит необычайно ярко.

– Как немного нужно, чтобы заставить этих простаков преисполниться благодарности, – заметил Дух.

– Немного? – удивился Скрудж.

Дух сделал ему знак прислушаться к задушевной беседе двух учеников, которые расточали хвалы Физзиуигу, а когда Скрудж повиновался ему, сказал:

– Ну что? Разве я не прав? Ведь он истратил сущую безделицу – всего три-четыре фунта того, что у вас на земле зовут деньгами. Заслуживает ли он таких похвал?

– Да не в этом суть, – возразил Скрудж, задетый за живое его словами и не замечая, что рассуждает не так, как ему свойственно, а как прежний юноша Скрудж. – Не в этом суть, Дух. Ведь от Физзиуига зависит сделать нас счастливыми или несчастными, а наш труд – легким или тягостным, превратить его в удовольствие или в муку. Пусть он делает это с помощью слова или взгляда, с помощью чего-то столь незначительного и невесомого, чего нельзя ни исчислить, ни измерить, – все равно добро, которое он творит, стоит целого состояния. – Тут Скрудж почувствовал на себе взгляд Духа и запнулся.

– Что же ты умолк? – спросил его Дух.

– Так, ничего, – отвечал Скрудж.

– Ну а все-таки? – настаивал Дух.

– Пустое, – сказал Скрудж, – пустое. Просто мне захотелось сказать два-три слова моему клерку. Вот и все.

Тем временем юноша Скрудж погасил лампу. И вот уже Скрудж вместе с Духом опять стояли под открытым небом.

– Мое время истекает, – заметил Дух. – Поспеши!

Слова эти не относились к Скруджу, а вокруг не было ни души, и тем не менее они тотчас произвели свое действие, Скрудж снова увидел самого себя. Но теперь он был уже значительно старше – в расцвете лет. Черты лица его еще не стали столь резки и суровы, как в последние годы, но заботы и скопидомство уже наложили отпечаток на его лицо. Беспокойный, алчный блеск появился в глазах, и было ясно, какая болезненная страсть пустила корни в его душе и что станет с ним, когда она вырастет и черная ее тень поглотит его целиком.

Он был не один. Рядом с ним сидела прелестная молодая девушка в трауре. Слезы на ее ресницах сверкали в лучах исходившего от Духа сияния.

– Ах, все это так мало значит для тебя теперь, – говорила она тихо. – Ты поклоняешься теперь иному божеству, и оно вытеснило меня из твоего сердца. Что ж, если оно сможет поддержать и утешить тебя, как хотела бы поддержать и утешить я, тогда, конечно, я не должна печалиться.

– Что это за божество, которое вытеснило тебя? – спросил Скрудж.

– Деньги.

– Нет справедливости на земле! – молвил Скрудж. – Беспощаднее всего казнит свет бедность, и не менее сурово – на словах, во всяком случае, – осуждает погоню за богатством.

– Ты слишком трепещешь перед мнением света, – кротко укорила она его. – Всем своим прежним надеждам и мечтам ты изменил ради одной – стать неуязвимым для его булавочных уколов. Разве не видела я, как все твои благородные стремления гибли одно за другим и новая всепобеждающая страсть, страсть к наживе, мало-помалу завладела тобой целиком!

– Ну и что же? – возразил он. – Что плохого, даже если я и поумнел наконец? Мое отношение к тебе не изменилось.

Она покачала головой.

– Разве не так?

– Наша помолвка – дело прошлое. Оба мы были бедны тогда и довольствовались тем, что имели, надеясь со временем увеличить наш достаток терпеливым трудом. Но ты изменился с тех пор. В те годы ты был совсем иным.

– Я был мальчишкой, – нетерпеливо отвечал он.

– Ты сам знаешь, что ты был не тот, что теперь, – возразила она. – А я все та же. И то, что сулило нам счастье, когда мы были как одно существо, теперь, когда мы стали чужими друг другу, предвещает нам только горе. Не стану рассказывать тебе, как часто и с какой болью размышляла я над этим. Да, я много думала и решила вернуть тебе свободу.

– Разве я когда-нибудь просил об этом?

– На словах – нет. Никогда.

– А каким же еще способом?

– Всем своим новым, изменившимся существом. У тебя другая душа, другой образ жизни, другая цель. И она для тебя важнее всего. И это сделало мою любовь ненужной для тебя. Она не имеет цены в твоих глазах. Признайся, – сказала девушка, кротко, но вместе с тем пристально и твердо глядя ему в глаза, – если бы эти узы не связывали нас, разве стал бы ты теперь домогаться моей любви, стараться меня завоевать? О нет!

Казалось, он помимо своей воли не мог не признать справедливости этих слов. Но все же, сделав над собой усилие, ответил:

– Это только ты так думаешь.

– Видит Бог, я была бы рада думать иначе! – отвечала она. – Уж если я должна была наконец признать эту горькую истину – значит, как же она сурова и неопровержима! Ведь не могу же я поверить, что, став свободным от всяких обязательств, ты взял бы в жены бесприданницу! Это ты-то! Да ведь, даже изливая мне свою душу, ты не в состоянии скрыть того, что каждый твой шаг продиктован корыстью! Да если бы даже ты на миг изменил себе и оставил свой выбор на такой девушке, как я, разве я не понимаю, как быстро пришли бы вслед за этим раскаяние и сожаление! Нет, я понимаю все. И я освобождаю тебя от твоего слова. Освобождаю по доброй воле – во имя моей любви к тому, кем ты был когда-то.

Он хотел что-то сказать, но она продолжала, отворачиваясь от него:

– Быть может... Когда я вспоминаю прошлое, я верю в это... Быть может, тебе будет больно разлучиться со мной. Но скоро, очень скоро это пройдет, и ты с радостью позабудешь меня, как пустую, бесплодную мечту, от которой ты вовремя очнулся. А я могу только пожелать тебе счастья в той жизни, которую ты себе избрал! – С этими словами она покинула его, и они расстались навсегда.

– Дух! – вскричал Скрудж. – Я не хочу больше ничего видеть. Отведи меня домой. Неужели тебе доставляет удовольствие терзать меня!

– Ты увидишь еще одну тень Прошлого, – сказал Дух.

– Ни единой, – крикнул Скрудж. – Ни единой. Я не желаю ее видеть! Не показывай мне больше ничего!

Но неумолимый Дух, возложив на него обе руки, заставил взирать на то, что произошло дальше.

Они перенеслись в иную обстановку, и иная картина открылась их взору. Скрудж увидел комнату, не очень большую и небогатую, но вполне удобную и уютную. У камина, в котором жарко, по-зимнему, пылали дрова, сидела молодая красивая девушка. Скрудж принял было ее за свою только что скрывшуюся подружку – так они были похожи, – но тотчас же увидел и ту. Теперь это была женщина средних лет, все еще приятная собой. Она тоже сидела у камина напротив дочери. В комнате стоял невообразимый шум, ибо там было столько ребятишек, что Скрудж в своем взволнованном состоянии не смог бы их даже пересчитать. И в отличие от стада в известном стихотворении, где сорок коровок вели себя как одна, здесь каждый ребенок шумел как добрых сорок, и результаты были столь оглушительны, что превосходили всякое вероятие. Впрочем, это никого, по-видимому, не беспокоило. Напротив, мать и дочка от души радовались и смеялись, глядя на ребятишек, а последняя вскоре и сама приняла участие в их шалостях, и маленькие разбойники стали немилосердно тормошить ее.

Ах, как бы мне хотелось быть одним из них! Но я бы никогда не был так груб, о нет, нет! Ни за какие сокровища не посмел бы я дернуть за эти косы или растрепать их. Даже ради спасения жизни не дерзнул бы я стащить с ее ножки – Господи, спаси нас и помилуй! – бесценный крошечный башмачок. И разве отважился бы я, как эти отчаянные маленькие наглецы, обхватить ее за талию! Да если б моя рука рискнула только обвиться вокруг ее стана, она так бы и приросла к нему и никогда бы уж не выпрямилась в наказание за такую дерзость.

Впрочем, признаюсь, я бы безмерно желал коснуться ее губ, обратиться к ней с вопросом, видеть, как она приоткроет уста, отвечая мне! Любоваться ее опущенными ресницами, не вызывая краски на ее щеках! Распустить ее шелковистые волосы, каждая прядка которых – бесценное сокровище! Словом, не скрою, что я желал бы пользоваться всеми правами шаловливого ребенка, но быть вместе с тем достаточно взрослым мужчиной, чтобы знать им цену.

Но вот раздался стук в дверь, и все, кто был в комнате, с такой стремительностью бросились к дверям, что молодая девушка – с смеющимся лицом и в изрядно помятом платье – оказалась в самом центре буйной ватаги и приветствовала отца, едва тот успел ступить за порог в сопровождении рассыльного, нагруженного игрушками и другими рождественскими подарками. Тотчас под оглушительные крики беззащитный рассыльный был взят приступом. На него карабкались, приставив к нему вместо лестницы стулья, чтобы опустошить его карманы и отобрать у него пакеты в оберточной бумаге; его душили, обхватив за шею; на нем повисали, уцепившись за галстук; его дубасили по спине кулаками и пинали ногами, изъясняя этим самую нежную к нему любовь! А крики изумления и восторга, которыми сопровождалось вскрытие каждого пакета! А неописуемый ужас, овладевший всеми, когда самого маленького застigli на месте преступления – с игрушечной сковородкой, засунутой в рот, – и попутно возникло подозрение, что он уже успел проглотить деревянного индюка, который был приклеен к деревянной тарелке! А всеобщее ликование, когда тревога оказалась ложной! Все это просто не поддается описанию! Скажем только, что один за другим все ребятишки – а вместе с ними и шумные изъяснения их чувств – были удалены из гостиной наверх и водворены в постели, где мало-помалу и утомонились.

Теперь Скрудж устремил все свое внимание на оставшихся, и слеза затуманила его взор, когда хозяин дома вместе с женой и нежно прильнувшей к его плечу дочерью занял свое место у камина. Скрудж невольно подумал о том, что такое же грациозное, полное жизни создание могло бы и его называть отцом и обогревать дыханием своей весны суровую зиму его преклонных лет!

– Бэлл, – сказал муж с улыбкой, оборачиваясь к жене, – а я видел сегодня твоего старинного приятеля.

– Кого же это?

– Угадай!

– Как могу я угадать? А впрочем, кажется, догадываюсь! – воскликнула она и расхохоталась вслед за мужем. – Мистера Скруджа?

– Вот именно. Я проходил мимо его конторы, а он работал там при свече, не закрыв ставен, так что я при всем желании не мог не увидеть. Его компаньон, говорят, при смерти, и он, понимаешь, сидит там у себя один-одинешенек. Один как перст на всем белом свете.

– Дух! – произнес Скрудж надломленным голосом. – Уведи меня отсюда.

– Я ведь говорил тебе, что все это – тени минувшего, – отвечал Дух. – Так оно было, и не моя в том вина.

– Уведи меня! – взмолился Скрудж. – Я не могу это вынести.

Он повернулся к Духу и увидел, что в лице его каким-то непостижимым образом соединились отдельные черты всех людей, которых тот ему показывал. Вне себя, Скрудж сделал отчаянную попытку освободиться.

– Пусти меня! Отведи домой! За что ты преследуешь меня!

Борясь с Духом – если это можно назвать борьбой, ибо Дух не оказывал никакого сопротивления и даже словно бы не замечал усилий своего противника, – Скрудж увидел, что сноп света у Духа над головой разгорается все ярче и ярче. Безотчетно чувствуя, что именно здесь скрыта та таинственная власть, которую имеет над ним это существо, Скрудж схватил колпак-гасилку и решительным движением нахлобучил Духу на голову.

Дух как-то сразу осел под колпаком, и он покрыл его до самых пят. Но как бы крепко ни прижимал Скрудж гасилку к голове Духа, ему не удалось потушить света, струившегося из-под колпака на землю.

Страшная усталость внезапно овладела Скруджем. Его стало непреодолимо клонить ко сну, и в ту же секунду он увидел, что снова находится у себя в спальне. В последний раз надавил он что было мочи на колпак-гасилку, затем рука его ослабла, и, повалившись на постель, он уснул мертвым сном.

Строфа третья Второй из трех Духов

Громко всхрипнув, Скрудж проснулся и сел на кровати, стараясь собраться с мыслями. На этот раз ему не надо было напоминать о том, что часы на колокольне скоро пробьют Час Полуночи. Он чувствовал, что проснулся как раз вовремя, так как ему предстояла беседа со вторым Духом, который должен был явиться к нему благодаря вмешательству в его дела Джейкоба Марли. Однако, раздумывая над тем, с какой стороны кровати отдернется на этот раз полог, Скрудж ощутил вдруг весьма неприятный холодок и поспешил сам, своими руками, отбросить обе половинки полога, после чего улегся обратно на подушки и окинул зорким взглядом комнату. Он твердо решил, что на этот раз не даст застать себя врасплох и напугать и первый окликнет Духа.

Люди неробкого десятка, кои кичатся тем, что им сам черт не брат и они видали виды, говорят обычно, когда хотят доказать свою удаль и бесшабашность, что способны на все – от игры в орлянку до человекоубийства, а между этими двумя крайностями лежит, как известно, довольно обширное поле деятельности. Не ожидая от Скруджа столь высокой отваги, я должен все же заверить вас, что он готов был встретиться лицом к лицу с самыми страшными феноменами и появление любых призраков – от грудных младенцев до носорогов – не могло бы его теперь удивить.

Однако, будучи готов почти ко всему, он менее всего был готов к полному отсутствию чего бы то ни было, и потому, когда часы на колокольне пробили час и никакого привидения не появилось, Скруджа затрясло как в лихорадке. Прошло еще пять минут, десять, пятнадцать – ничего. Однако все это время Скрудж, лежа на кровати, находился как бы в самом центре багрово-красного сияния, которое, лишь только часы пробили один раз, начало струиться непонятно откуда, и именно потому, что это было всего-навсего сияние и Скрудж не мог установить, откуда оно взялось и что означает, оно казалось ему страшнее целой дюжины привидений. У него даже мелькнула ужасная мысль, что он являет собой редчайший пример непроизвольного самовозгорания, но лишен при этом утешения знать это наверняка. Наконец он подумал все же – как вы или я подумали бы, без сомнения, с самого начала, ибо известно, что только тот, кто не попадал в затруднительное положение, знает совершенно точно, как при этом нужно поступать, и доведись ему, именно так бы, разумеется, и поступил, – итак, повторяю, Скрудж подумал все же наконец, что источник призрачного света может находиться в соседней комнате, откуда, если приглядеться внимательнее, этот свет и струился. Когда эта мысль полностью проникла в его сознание, он тихонько сполз с кровати и, шаркая туфлями, направился к двери. Лишь только рука его коснулась дверной щеколды, какой-то незнакомый голос, назвав его по имени, повелел ему войти. Скрудж повиновался.

Это была его собственная комната. Сомнений быть не могло. Но она странно изменилась. Все стены и потолок были убраны живыми растениями, и комната скорее походила на рощу. Яркие блестящие ягоды весело проглядывали в зеленой листве. Свежие твердые листья остролиста, омелы и плюща так и сверкали, словно маленькие зеркала, развешанные на ветвях, а в камине гудело такое жаркое пламя, какого и не снилось этой древней окаменелости, пока она находилась во владении Скруджа и Марли и одну долгую зиму за другой холодила без огня. На полу огромной грудой, напоминающей трон, были сложены жареные индейки, гуси, куры, дичь, свиные окорока, большие куски говядины, молочные поросята, гирлянды сосисок, жареные пирожки, плумпудинги, бочонки с устрицами, горячие каштаны, румяные яблоки, сочные апельсины, ароматные груши, громадные пироги с ливером и дымящиеся чаши с пуншем, душистые пары которого стлались в воздухе, словно туман. И на этом возвышении непринужденно и величаво восседал такой веселый и сияющий Великан, что сердце радова-

лось при одном на него взгляде. В руке у него был факел, несколько похожий по форме на рог изобилия, и он поднял его высоко над головой, чтобы хорошенько осветить Скруджа, когда тот просунул голову в дверь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.